

ТАМАЗ ТАВАДЗЕ



О чем кричат совы по ночам

2008 год

Предисловие

Перед Вами необычная книга. Ее прелесть неизгладима: от начала и до конца – это апофеоз поэзии и красоты русского языка.

Есть одна значительная особенность этого произведения – она написана грузином, задавшимся целью передать всю прелесть восточной поэзии, а конкретно, поэзии грузинской, на русском языке. Читатель сам убедится в том, что это удалось, причем, удалось передать не только образы Востока, но и всю ритмику восточной поэзии, ее колорит и даже сам дух языка грузинского, языка, полного веселого юмора, героической лирики и любви беззаветной и бескорыстной.

Произведение, при этом, совершенно русское, более того, пушкинское; и этот симбиоз настолько широк, что даже выходит за пределы двух названных языков, ибо невозможно не почувствовать в этом произведении широту ритмики и рифмы Верхарна.

Итак, читатель, желаем Вам насладиться поэзией истинной Любви и самому составить собственное мнение об этом произведении блестящего поэта – Тамаза Павловича Тавадзе – большого друга России, исключительного поклонника и исследователя языка русского и всей русской культуры. Особенно стоит отметить, что он глубоко почитает Николая Константиновича Рериха, воспитывает себя на его книгах и Учении «Агни Йога» и считает его своим Гуру. Это положение дает нам право считать, что эта книга своего рода дань любви к своему Гуру, чем он хотел, как сам об этом говорит, разделить карму Н.К.Рериха в отношении России – служить Культуре во имя своего Учителя и во имя Света и Мира во всем Мире.

Оксана Скибицкая

О чем кричат совы по ночам

Давид Дадияни, образованнейший человек и большой книголюб, часто заглядывал в библиотеку, где один только вид древних книг приводил его в состояние восторга перед мудростью человеческой. Аристотель, Петр Ибери, Шота Руставели, Сулхан Саба Орбелиани... Давид невольно потянулся к книгам, но вынул из ряда аккуратно уложенных книг не ту, за которой пришел, а тонкий древний пергамент. Как часто мы делаем то, что противоположно задуманному нами!..

Давид раскрыл свиток. Это была сказка. Он знал ее наизусть, но неуловимая прелесть сказки, глубоко волновавшая его в детстве, манила его к себе с неослабевающей силой. Он присел на тахту. Удобно устроившись среди мутаг*, князь закрыл глаза и стал на память восстанавливать содержимое свитка, будто рассказывая сказку своим неведомым слушателям. ...Было написано в том свитке, что соловьи в старину славились не столько пением, сколько оперением. Яркие, переливающиеся цвета нарядов служили им основным оружием в их любовных состязаниях. Соловушки оценивали достоинства поклонников по яркости оперения, невольно впадая в грех перед менее франтоватыми, но более искусными певцами.

Соловьи гордились своим оперением не меньше, чем искусством пения. Из поколения в поколение, с тщательностью и любовью передавали они свое искусство песнопений и тайны создания редчайших оттенков наряда. Когда птенцы подрастали, отцы семейства с гордостью и надеждой выпускали их на соревнования молодых певцов, где победителю торжественно присваивалось почетное звание «Мгосани»**.

Перед приглашенными на состязание юных почетными старцами и блистательными прославленными поэтами выступала «зеленая» молодежь. Вздоленные дебютанты робко пели свои первые трепетные песни. Блистательные поэты поздравляли юнцов, признавали в них талант, с торжественностью наделяли их тысячами полезных советов. Вздоленные юнцы, часто перебивая и почти не слушая их, в бессознательной наивности пытались представить себя в еще более выгодном свете и путано рассказывали окружающим о своих будущих фантастических планах. Тщеславие так и распирало их, а скромность путала язык перед понимающе улыбающимися наставниками.

Почетные старцы поздравляли отцов. «Талант рождается, а искусство прививается», – говорили убеленные сединами мудрецы.

Но!..

Но, бывало, что посвящаемый в поэты, не по возрасту рослый, юнец перед такой серьезной аудиторией вдруг заявлял:

– Ку-ку...

Да-а-а!!!.. Это бывало, как гром среди ясного неба. Однако опозоренные и опечаленные родители с прежней любовью и лаской продолжали опекать подкидыша, пытаясь хоть чему-то научить его.

Истинная любовь не делит детей на своих и чужих. На большую любовь способны только поэты, а соловьи, как известно, были поэтами... Соловьи были отменными семьянинами, и в этом скрывалось их самое большое несчастье.

Кукушки, чтобы не испытывать судьбу, вовсе перестали подкладывать свои яйца в чьи бы то ни было гнезда, кроме как в соловьиные. Несчастье было не в том, что половина «соловьев» закуковала, а в том, что соловьиному роду грозило исчезновение.

Перед лицом смертельной опасности собрались соловьи на Родовой Совет. Молодежь, конечно же, горячилась. Старики, понятно, пришли с тысячами полезных наставлений, однако Совет к чему-либо определенному так и не пришел.

Молодежь разделилась. Одни предлагали объявить войну кукушкам, а другие – топить

* Мутага – продолговатая подушка.

** «Мгосани» – в пер. с грузинского – «поэт».

кукующих «соловьев», чтобы не повадно было... Но вот вышел в птичий круг седой Старец, не проронивший до этого ни единого слова. Все замолкли, приготовившись слушать мудреца. – Слушал я вас, дети мои, слушал, а теперь послушайте и меня. Сделаете, как скажу, – значит жить соловьиному роду, а нет – так исчезнуть нам с лица земли. Нет! Негоже нам объявлять войну, и не потому, что есть среди нас трусы. Я знаю, все будут биться насмерть, никто не опозорит рода соловьиного, однако мало, слишком мало осталось нас и погибнем мы все, прежде чем добьемся победы. Топить подкидышей мы не будем... Мы любим ПТЕНЦОВ и своих, и чужих, и губить никого не станем, ибо это повредит, прежде всего, нам самим. Мы рождены для любви, а не для ненависти. Подняв руку на чужое дитя, мы тотчас перестанем называться поэтами, певцами любви, тотчас забудем все наши песни. Убийцы песен не поют... Или слышал кто-нибудь, как поют орлы?!

– Не-е-е-т! – хором ответило собрание.

– Кто кровь пьет, тот песен не поет, – продолжал седой мудрец, – мы же должны петь. Должны петь и воспевать любовь, как истинные поэты любви и братства. Так вот, что я вам предлагаю: мы должны бережно охранять наши гнезда днем, ни на миг не отлучаясь от них. Дела свои мы должны вершить по ночам, когда кукушки спят и не могут подложить нам своих яиц. Это значит, что мы должны переселиться в ночь со всеми нашими обычаями и обрядами. Будем жить в ночи так, как мы жили днем. Этим мы оградим свой род от исчезновения и сохраним себя певцами любви и свободы.

Поднялся невообразимый шум... Все кричали о том, что в любовных состязаниях из-за ночной темноты соловушки не смогут отличить достойного от недостойного, – известно ведь, в ночной темноте оперением не блеснешь...

Поднял Старец свое крыло, и вновь, внимая мудрецу, затихло птичье собрание.

– Песня, – молвил он, – украшение поэта. Песню глазами не увидишь. У любви очень чуткие уши, и, если глаза можно обмануть, то сердце в звуках, в интонациях почувствует фальшь... Сердце любит на слух! Наши соловушки именно на слух будут находить своих искренних и достойных почитателей. Уши – врата жизни.

Соловьи переселились в ночь. Прав был старец, ни к чему поэту пестрое оперение...

Соловьи полиняли. Ночь выкрасила их в неприметный, серый, цвет. Зато петь они стали во стократ краше. Божественные трели соловья, его чарующее шелканье озаряет с тех пор весенние темные ночи немеркнущим пламенем таинства любви. Соловушки выбирают лучших из лучших исполнителей ночных серенад, не совершая прежних обидных ошибок. Если случается кому на год остаться холостяком, то тот честно работает над своими песнями, старательно выкорчевывает из них сомнительные и фальшивые нотки. В родных пенатах, обласканный родительской любовью и заботой, причащается он для настоящей, искренней будущей любви своей.

Правда, иные соловушки и сегодня втайне вспоминают радужное сияние соловьиных камзолов... Дневные краски мира соблазнительно сверкают перед ними. Разноцветные краски дневного великолепия искушающе сияют перед их широко раскрытыми глазами, тайно волнуя сердце и будоража душу. И все же солнечный свет не способен затмить настоящую зарю, песнями расцвечиваемую в глубокой ночи ее сереньким супругом... Любви знакомо искушение. Поэтому и вьют соловьи свои гнезда в розовых садах, выстилая жилища свои нежными, благоухающими лепестками роз.

А что же кукушки?

Кукушки почувствовали себя смертельно оскорбленными и уязвленными в своих лучших чувствах. Уязвленными не потому, что стало невозможно подбросить свое яйцо в гнездо соловья, а потому, что на весь мир прокатилась слава об их бесталанности.

– Мы еще покажем, на что мы способны, – заявили они. – В конце концов, мы выросли в соловьиных гнездах и знаем не только косметические секреты. Мы достаточно хорошо изучили у соловьев теорию контрапункта. Держись, соловьиное племя! Вашим же оружием вас!..

Осуществление своего плана мщения Кукушка начала с того, что навела косметику на свой

наряд по всем изученным у соловьев канонам и очень в этом преуспела. Она стала пестрее и наряднее допереселенца Соловья. Успех так окрылил ее, что она даже изобрела свой собственный способ подмалевывания яиц, делая их похожими на те, которые уже лежат в гнездах будущих приемных родителей.

С большим энтузиазмом принялась Кукушка за второе дело. Целыми днями куковала она в лесу, с завидным упорством повторяя уроки, некогда полученные у соловьев. В конце концов, она с грустью призналась себе:

– Голос слабоват... да и объемом легких, видно, Бог обделил.

Чего не придумаешь себе в оправдание! Кукушка и теперь не возьмет себе в толк, что не много нужно ума для создания пестрых нарядов. Секрет прост: цепляй любой лоскут – и все тут. Поэзия же секретов не имеет. Просто поэтом нужно родиться. Вот тут Кукушка и вправду почувствовала, что ее достоинству нанесен серьезный удар.

Истинное достоинство молчаливо, показное – крикливо. Истинное достоинство не унизишь, а показное – от легкого прикосновения, тут же взрывается осиным роем яростного мщения. Кукушка не могла успокоиться. Она была готова на все, лишь бы посрамить соловьиный род.

– Что ж! – воскликнула она. – Сама не могу, так найду учеников с достаточным объемом легких и большой силой в голосе. Посмотрим, чья возьмет! Если победит мой ученик, то это будет и моя победа: успех ученика – торжество учителя. Мое самолюбие получит утешение, а всему птичьему роду придется признать во мне великого МАЭСТРО...

На многих деревьях в лесу расклеила Кукушка объявления, в которых обещала желающим совершенно бескорыстно открыть секреты вокального искусства.

К объявлениям отовсюду слетались птицы, читали их и, обсуждая содержимое, устраивали настоящие птичьи базары.

– Ему самому надо поучиться быть хорошим семьянином и отцом, чтобы не позволял супруге своей засорять чужие гнезда, – говорили одни.

– Хромой танцам не научит, – говорили другие...

На ветку с объявлением слетел бойкий Воробей: «Сам не сможешь – другому поможешь», – сердито прокричал он и решительно сорвал объявление.

– А ну, не тронь! – прохрипела нагловатой внешности серая птица. По-боевому выпятив грудь, она стремительно налетела на Воробья и вырвала у него объявление. Ознакомившись с заманчивым содержанием, она направилась по указанному адресу к учителю пения. Ей вслед неслись колкие шуточки и смех.

– На какую розу при ваших габаритах сесть изволите? – насмешливо спросил кто-то.

– Ха-ха-ха! – раздался общий смех, эхом перекатываясь от чащи к чаще.

– Его роза на огороде растет. Розу – в борщ, а самого – в суп, вот те и соловьиные трели, – нахохлившись, прочирикал не на шутку рассерженный Воробей. Мудрая Сова, вращая огромными, слепыми днем, глазами, загадочно изрекла:

– Верблюжонок спросил: «В чем моя судьба?» – «В тюках» – ответили ему. Так и эта птица: она запоем «ку-ку» только на свой особый лад.

Кукушка, прежде всего, тщательно искупала своего ученика и, дав хорошенько просохнуть, разукрасила его во все цвета радуги. Внешность, по мнению Кукушки, имеет решающее значение, поэтому, в этом, совершенно исключительном случае она постаралась на славу. Серая птица неузнаваемо преобразилась: шея огненно-рыжая, грудь украсила темно-фиолетовая кружевная накидка, крылья стали отливать медью, пышный хвост дугой горел, как настоящая радуга после весеннего дождя. В ожидании будущих успехов Кукушка на краски не скупилась!

Любовно оглядев плоды своих трудов, она перешла к делам более важным: поудобнее устроилась на тахте, настроила чонгури*, и... из дупла на лесную поляну полились первые нежные аккорды... Урок вокала начался.

Кукушка: Ку-ку.

* Чонгури – грузинский национальный инструмент типа балалайки.



Ученик: Ку-ку.

Кукушка: Ку-ку.

Ученик: Ку-ку.

Кукушка: Ку-ку, ку-ку-у-у...

Ученик: Ку-ка-ре-ку-у...

Кукушка: Возьмите До-о-о,

Чуть выше – Ре-е-е...

Ученик: Всем нотам нота – нота Ре-е,

Ку-ка-Ре-ку, Ку-ка-Ре-е.

Кукушка: Прошу учесть вас, сударь,

Там – знатоки все судьи.

Петух: Дела со строгими жюри

Устрою я в «ажуре».

Кукушка: Не любят нас – учтите впредь –

И в споре могут затереть.

Петух: Им обид я не спущу,

Унижений не прощу,

Коль не честным будет спор,

В ход пуцу я силу шпор,

Закручу такой Содом, –

Пух и перья, дым столбом...

Кукушка: Страх – пустое, скромность – вздор,

Ждет нас слава, их – позор!

Выше нос, гони тоску.

Петух: Кука-ре, ку-ка-ре-ку!

– Bravo! – воскликнула кукушка. – Срочно к делу и без проволочек, – засуетившись, затараторила она.

– Я напишу объявления, а ты расклеишь их по всему лесу.

Петух галантно вырвал из своего пышного хвоста самое роскошное перо и передал его своему сияющему маэстро.

С важным видом усевшись на треногу, кукушка стала выводить текст объявления. Нога за ногу, с приподнятой вверх бровью, то откидываясь назад, то вновь склоняясь над берестой, она с величайшим наслаждением сочиняла текст. В местах, по ее мнению наиболее удачных, она многозначительно прищелкивала языком.

Вот, что она сочинила:

ВНИМАНИЕ!

Всем, всем, всем!

Снегирям, воробьям,

Попугаям, глухарям,

Журавлям и цаплям,

Лебедю и кряквам,

Сычу, Пеликану,

Ворону, Колибри,

Гриф-великану,

Птицам всех калибров.

Честному народу –

Птичьему роду!

Порази меня Кондор,

Если я замыслил вздор,

А замысел мой таков:

*Мы – не племя простаков!
Тем, кто был навек отвергнут,
Будет Соловей низвергнут.
Хоть турнир устрою я,
Но не буду петь я,
Арию свою споет
Ученик мой – Петя!*

В этом месте кукушка на минуту призадумалась. Лукаво скосив глаза, она решительно приписала:

Его величеству Орлу ~~ХВАЛУ~~

Поем мы день и ночь ХУЛУ.

«Ошибку» она перечеркнула и сверху написала «ХВАЛУ». Под объявлением она поставила свою подпись.

По велению петуха, куры размножили объявление, точно следуя оригиналу, и с шумом разлетелись по всему лесу.

В лесу стоял неистовый переполох от истошно квохчущих и кудахтающих кур. Куда только они не пробирались от усердия и где только они не развесили объявления о будущем состязании своего повелителя.

Под вечер обширный гарем петуха, его многочисленные наследники и наследницы, приятно возбужденные перипетиями дня, собрались вместе. Каждый из них четко знал свой шесток, и сегодня не было обычных стычек за место поближе к главе семейства. Семейный вечер проходил в атмосфере дружбы, сердечности и полного взаимопонимания. Все чего-то ждали и с нетерпением взирали на владыку.

Выдержав необходимую паузу, добившись абсолютной тишины, Петух почти ласково провозгласил:

– Сегодня мы споем. Все вместе. Это, так сказать, небольшая репетиция. Основной свой репертуар готовлю я у «Маэстро-ди-тутти Маэстро», у Кукушки. Итак, начинаю я.

Запели все, кроме скромно потупившихся молодых курочек.

Петух: *Кто сказал: «Не будет драк», –*

Просто-напросто Чудак:

Даже голуби в бою

Бьются за любовь свою.

Молодые

петушки: *Посмотреть хороший бой*

Не откажется любой:

В кровь разодран хохолок,

Вьется пестрых перьев клоч!

Петух: *Поколотят, изувечат – не беда,*

Терпит рыцарь пораженья иногда,

И пусть варвар угрожает.

Я не буду уstraшен.

Кто десницею стращает,

Будет шуйцей сокрушен!

Петух (обращаясь к петушкам):

Если с поля недостойно ты удрал,

Знай: гарем твой тот, со шпорами, забрал,

Всех хохлаток и пеструшек он увел

Потому, что бой с умением повел.

Петушки: *Чтоб в бою не растеряться,*

Постоянно нужно драться.

*К черту слезы, тьфу на мир,
Эй, кто дерзок – на турнир!*

Петух (обращаясь к курам):

*Всех к себе красоток завлеку,
Женам вольность не прощу, я начеку, –
В тех гаремах лишь наложницы скромны,
У которых обладатели сильны!*

Куры (лукаво, с некоторой обидой):

*Силу ценим – это точно,
Повелитель наш восточный,
Только мы не виноваты, –
Твои ласки грубоваты...*

Петух (с некоторым раздражением):

*Знаю, слышал эти басни.
Чуть размяк, – и сразу шашни?
Погоди-тко, милый брат, –
Я привык все силой брать!
Кто не даром – бравый малый, –
Гордо носит гребень алый.*

Куры (в замешательстве):

*Да-да-да! Да-да-да!
Прав ты, милый, как всегда.*

Все вместе:

*Без тебя нам всем беда, –
И ни туда, и ни сюда...*

Над лесом, в полночной тиши, раскатисто прогремело мощное петушиное «Ку-ка-ре-ку».

Стремительно распространилось в птичьем мире известие о турнире. С первыми лучами солнца высоко в небе зазвенела звонкая песня Жаворонка. Он пел гимн весне, труду, началу обновления всей земли. Этот несравненный виртуоз, знаток более тысячи мелодий, поднявшись к самому синему небу, посылал на землю своему собрату Соловью искренние заверения в братских чувствах и поэтической преданности. Он пел об их вечной дружбе и о том, что не одинок Соловей в эти трудные для него дни, что рядом с ним его верные друзья – единомышленники. Действительно, в небе звенел небывалый хор. Откуда только ни слетелись сюда жаворонки: из Австралии и Америки, Европы, Азии и Китая. Из бескрайних степей Казахстана прилетел сюда черный Жаворонок. Не остались безучастными к судьбе Соловья известные домоседы – хохлатые жаворонки Украины и Белоруссии... Звенела необыкновенная симфония в исполнении восьмидесяти непревзойденных виртуозов, придавая затаившемуся в кустах Соловью силы, вселяя в него уверенность и спокойствие. Величественная симфония закончилась. У Соловья прошел первый испуг от ошеломляющего известия о нелепом состязании с Петухом. Он стал спокойнее обдумывать положение дел и искать выход из создавшегося положения.

Вдруг небо потемнело: это тысячи ворон со всего света потянулись к месту будущего состязания в расчете на то, что можно будет неплохо погулять на званом ужине в честь победителя. Ужин в таких случаях, по обыкновению, закатывал владыка Орел.

Все на земле сжалось от мрака вороньих крыльев, попрятались пичужки, напуганные их зловещим карканьем. Одна нахальная серая Ворона, слетев к гнезду Соловья поглазеть на участника турнира, завела сама с собой пьяный разговор:

Уж по мне, что эта пташка –



*Сладкозвучная милашка,
Что хвастливый горлодер –
Рыжехвостый гренадер,
Рвущийся на состязанье
С непонятным притязаньем.
На обоих наплевать;
Было б только поклевать,
Выпить вдоволь на пирушке,
А потом и заварушку заварить,
Жуткий страх
На этих птах
Напустить...
Тайной клятвы не нарушим,
Все сожжем и все разрушим:
В ярком пламени сгорят
И дворцы, и терема –
То-то будет кутерьма!
В дивной свалке, между прочим,
Выключем Орлу мы очи,
Нам достанется корона,
И на трон взойдет Ворона.*

Боком, боком, вприпрыжку, жутко косясь оком, тяжело поскакала Ворона и, взлетев, понеслась вдогонку стае...

Соловей переживал сложные чувства. С одной стороны, его сердце наполняла радость при виде поддержки друзей, с другой стороны, его очень заботило то, что он почерпнул из пьяной болтовни Вороны.

Придя в себя, он напрямик направился к победителю недавнего фестиваля певцов, к новому обладателю почетного звания Мгосани, чтобы вместе с ним разрешить так неожиданно возникшие перед соловьем проблемы.

Нежный супруг и заботливый семьянин, Мгосани, осторожно покачивал Аквани,*своего первенца. Согретый необычайным теплом улыбок, блуждающих на личике спящего малютки, умиротворенный семейным уютом и покоем, созданным в их гнездышке его молодой супругой, Мгосани размышлял... Он вспомнил удивительный сон своего счастливого, безоблачного детства. Только сейчас с особенной четкостью он осознал, что его сон, такой далекий и такой таинственный, имеет прямое отношение к его сегодняшнему счастью, касается не только его самого и его супруги, но и этого маленького крошки, который, быть может, именно сейчас видит свой собственный сон-сказку, улыбаясь разворачивающимся в нем событиям.

Весь переполненный чувствами к своей супруге, Мгосани безмолвно поманил ее к себе. Вместе склонились они над колыбелькой – вечным символом их нерушимого союза и взаимной верности...

– Знаешь, я уже видел вот это – свое счастье – в детстве, во сне, – тихо шепнул Мгосани своей супруге. – Я вспоминаю этот дивный сон. Послушай, как это было...

Мчит, несет меня в чистом поле колесница, кругом, сквозь хлопья голубого тумана, стараясь обогнать нас, мчат другие колесницы. С детской наивностью, изо всех сил кричу: «Моя мама

*(колыбель)

– самая красивая! Мой папа – самый смелый и самый сильный!..» От каждого крика моего, как от удара кнута, еще быстрее мчит колесница, запряженная моими родителями. Кругом гик, свист и улюлюканье... Обливающиеся потом, папы и мамы пытаются вывести вперед свою колесницу со своими птенцами. По пути мы обгоняем неуклюжие брички, тяжелые повозки, двуколки... Стремительно проносимся мимо тяжело увязших арб, упрямо вытягиваемых одинокими мамами. Неистовство, безумие и какой-то страх царили кругом. В страхе уступая дорогу стремительным колесницам, иные упряжки переворачивались, иные застревали за дорогой. А над всем этим кружило черное воронье, вырывающее малюток у надорвавшихся, выбившихся из последних сил родителей... От каждого рывка вожжей, которыми незаметно для себя я стал управлять, сильнее набухали жилы моих родителей, и видел я, как на моих глазах старели они, становились все прозрачнее и призрачнее. Затем исчезли, испарились, превратились в голубой туман... А колесница моя несется дальше, ничуть не убавляя свой безудержный бег. Это я занял место отца своего и мчу колесницу с молодым задором и тщеславием, одним своим видом расчищая себе дорогу. Рядом со мною, нога в ногу, бежит какая-то улыбающаяся мне красавица. Вдруг за моей спиной раздалось такое обворожительное «АГУ», что мы еще шире улыбнулись друг другу, еще более ускорили свой и без того ошеломляющий бег. В наши улыбающиеся уста безболезненно, но настойчиво, протиснулись золотые удила. Мы уже не могли сомкнуть губ наших... Так и осталась у нас на лицах вечная улыбка. И вот, как на крыльях, понесли мы колесницу, уже управляемую вожжами. От вожжей исходило какое-то необыкновенное тепло... Пахли они детскими ручонками, а на губах наших чувствовался сладкий вкус нежного детского поцелуя.

Мы друг другу все улыбались и улыбались, мчались, как вихрь, и ни догнать нас, ни перегнать было невозможно. Откуда силы брались у нас – не знаю, только, чем увереннее и сильнее натягивались вожжи, тем настойчивее мы пытались взвинтить темп. Вдруг я почувствовал, что выбился из сил и только усилием воли поддерживаю этот ужасающе дикий бег. Мы задыхались, а улыбки наши, вначале такие восторженные, превратились в горестные гримасы. ...Взглянул я на свою подружку и...

Рядом со мною вспорхнула ее прозрачная тень и превратилась в голубой туман. Вытянув руки вслед голубому облачку, и я растворился в нем... А мимо нас промчалась наша колесница, мощно увлекаемая вперед нашим юным сыном.

– О! Как это прекрасно! – воскликнула прелестная подруга Мгосани, прильнула к нему, нежно обняла и жарко прошептала ему на ухо: – Ты мой Голубой Дурман...

...Куст розы слегка покачулся. Это прилетел седой вождь соловьиного племени. Извинившись за потревоженный покой, седовласый старец по-деловому коротко пересказал молодому другу суть дела.

– Все наше племя надеется сейчас только на тебя, – сказал в заключение седой мудрец.

– А стоит ли вообще связываться с ними? – неуверенно возразил молодой поэт, – ведь всем известно, кто есть кто. Мы можем только унизить себя – в подобном состязании.

– Нет, – твердо ответил вождь. – Слишком много шума наделала вся эта история, и, если для многих ясно, что это не что иное, как злопыхательство, то очень и очень многих разбирает праздное любопытство. Им не терпится потешиться над чужой свалкой и совершенно безразлично при этом, кто прав, а кто виноват. Они потребуют состязания, и, откажись мы от него, нас освищут. И, тем не менее, не это самое страшное. Страшное то, что рядом с нами лицемерно затаилось много недругов наших, которым, ох, как хочется нашего позора. Их коварству нет предела – они будут плести интриги против нас. Им наплевать, что в случае нашего поражения ночную прохладу весеннего сада будет раздирать петушинный рев, и, что увянут от этого все цветы на земле. Они считают так: злобу выместить, а там – хоть трава не расти! Главное для них – это то, что будет утолено их тайное чувство мести, родившееся не по нашей вине, а просто из зависти, зависти черной и неблагородной. Уши завистливых непривередливы. Они с удовольствием смакуют сплетню, и далее сами распространяют наговор. Те, кто просто сочувствуют нам, в случае нашего поражения забудут нас, вернее, их



заставят забыть нас. Друзья же наши – искренние почитатели – будут изгнаны вместе с нами... Несчастные, они и солнце будут видеть в черном свете.

– Но ведь у нас есть справедливый Орел, – с надеждой откликнулся Мгосани.

– Орел... В его жизни мы – всего лишь эпизод. Он любит нас во время своих пышных кутежей. И он не столько смыслит в поэзии или, скажем, не столько упивается песней, как ценит нас как средство. Сложно, очень сложно устроен его «Дарбази»*, ибо он – Владыка и не может ограничиться чем-то одним. Непокорного и сильного врага он валит с ног с помощью змей. Змей он бьет с помощью птицы-Секретаря... Далеко, очень далеко простирается его всемогущая карающая длань. Павшая жертва даже не заподозрит приговор, вынесенный ей Орлом, а совершивший покушение палач, умело направляемый Орлом, через десятки и сотни подставных разномастных птиц, искренне поклянется, что он всего лишь исполнитель воли Бога... Карканье Ворона над поверженным врагом для нашего владыки приятнее самых сладостных звуков. Нередко потчует он их подобною трапезою. Случается, однако, что и воронье насаждает на ослабевшего Орла... так устроен птичий мир, и нет ничего более опасного, чем затевать тяжбу, ибо исход непредсказуем. Только наивные могут тешить себя заранее, а мы должны подготовиться к этому состязанию с чувством большой ответственности и не должны забывать при этом, что совершенно не ясен исход этой борьбы...

– Что мы возьмем в качестве нашего основного репертуара? – спросил, став совершенно серьезным, молодой поэт.

– Я позабочусь о либретто, а ты напишешь музыку, – предложил седой вождь.

– Сейчас же мы просто отрепетируем твою партию с прошедшего весеннего фестиваля.

В наступивших сумерках прозвучала изумительная фестивальная песня соловья:

*Любовь – добра единственная мера,
Бессмертных дел пленительная сфера,
О ней ночами напролет пою,
Страдая, слезы счастья лью...
Любовь – одна на свете вечна,
А зло, известно, быстротечно,
Каким бы тяжким не было страданье.
...Милых влюбленных в старинном преданьи
Злая ведьма жертвой избрала.
Подняв забрало,
Черным вихрем налетела,
Закружила, завертела...
Парня вихорь треплет, бьет
Так, что, кажется, убьет,
Вот-вот судьба его решится,
Но Миджнур** наш не страшится:
Голову поднявши гордо,
На ногах стоит он твердо.
Деву, милую свою,
Ограждая от беды,
Крепко жмет к своей груди.
Иступленно ведьма бьется,
Ураганным смерчем вьется,
Градом сыплются проклятья,
Да, крепки любви объятья!
Извиваясь в злобной корче,*

* Дарбази – Дума, Совет.

** Миджнур – Влюбленный.

Ведьма напустила порчу.
(Безотказен метод старый:
Силу губят злые чары).
Заклубившись, как туман,
Колдовской хмельной дурман
Вмиг лишил Миджнура сил
И колени подкосил...
Витязь рухнул, как утес,
Вихорь деву вмиг унес,
Унес ее вдаль, через горы, холмы;
Туда, где извечны владения тьмы;
Следом ведьма тут как тут,
Гномы деву в грот ведут.
Чинно выстроившись в ряд,
Колдовской вершат обряд:
Солнце-Деву усыпили
И студеною полили
Колдовской водой с ключа...
Дева гаснет, как свеча,
Хор таинственный поет,
Превращая воду в лед...
В глыбу льда заточена,
Хладно светится Луна.
Чтоб сделать заклинанье неприступным,
Коварная решилась на преступность,
И потому, не торопясь закончить дело,
Припомнила, что как-то подглядела
Творца, взволнованного шибко,
Какою-то серьезною ошибкой.
Творец стенал: «О, Ева, Ева!
Зачем запретный плод вкусила с древа?!»
И ведьма поняла, какое наслажденье
Вкушает дьявол: грехопаденье
Он подстроил Еве,
Змеей повиснув на запретном древе.
Вообще, Творец не грехопаденьем был смущен,
Ошибкою своей был возмущен;
И свой просчет исправить помышляя,
Он так, примерно, размышлял
«Искунитель – дьявол грозный –
Тароват на злые козни,
Ад, по-видимому, – вздор,
Благодушие для лукавого – простор.
Он на хитрости востер...»
Бог подобным рассужденьем
Принял мудрое решение:
Все подвластны искушенью...
Неприступно будь бы древо,
Непорочной была б Ева.
Ей Всевышний в назиданье
Создал дивное созданье:

Несравненной красоты,
Безупречной чистоты,
Непорочной, нежной-нежной,
Создал розу. Белоснежна,
Целомудренна, чиста
Девы божьей красота.
Зная ж свойства злого рока,
Огражденьем от порока,
Сотворил ей грозный щит –
Бессердечно острый шип.
Всех, кто падок на соблазны,
Страж пугает безобразный:
Искушение и соблазн
Обуздает только казнь!
...Вспомнив божий этот план,
Ведьма в нем нашла изъян,
И того изъяна знанье
Стало сутью заклинанья:
«Этот перстень ледяной,
С мирно спящей в нем луной,
Алых роз растопит жар,
Колдовских развеяв чар».
В этом был секрет немалый:
Роза не могла быть алой...
Так Всевышний повелел
При земных устройстве дел.
...Неприступно, как твердыня,
Зло, прикрытое святыней...
Вот такие-то дела –
Ведьма Бога «провела»...
И все же зло – бессильная химера!
Вот к тому вам славные примеры:
Мир спасли от произвола
Даддани* и Сцеола,**
Должна особо быть воспета
Супруга римлянина Пэта,
Ее святое «Non dolet»
Будет славно сотни лет!..
Мате Мгвдели*** – духом тверд,
Столицу спас и спас народ...
Добрым делом одержим
Род людской НЕПОСТИЖИМ!!!
Эта истина – стара
Нам продолжить песнь пора.
...Витязь медленно пришел в сознание
Узнав о заклинанье,
Надеждой воспылал Миджнур

* Грузинский Герой.

** Римский Герой.

*** Грузинский Герой.



Великодушный
И к Розе обратился простодушно.
О боли, что с разлукою изведаль,
Он пылко обо всем поведал
Холодной белоснежной Розе,
Застывшей в безучастной позе.
Был шелест лепестков ее невнятен,
Зато вполне был смысл понятен.
Напрасно к ней взывая, заламывал он руки,
Она была глуха к его глубоким мукам.
С тех пор Миджнур искал повсюду
Того, кто совершил бы чудо.
Скитальцем страждущим он обошел весь свет,
Но не нашелся маг, кто заменил бы цвет
Холодной белоснежной Розы
На цвет бушующей любовной грезы, страсти.
Твердили все: «То выше нашей власти –
Кудесника ли, мага, волшебника любого...
То лишь во власти бога!»
Тогда чудо свершить попытался он сам,
Молитву жаркую вознес он к небесам,
В молитве – боль,
Упреки,
Слезы,
Горячая мольба
И стон любовной грезы.
Но чуда нет – как будто Боги мертвы –
Богам угодны жертвы!
Печальный вздох, последнее стенанье –
Миджнур упал и потерял сознание,
От жалости Роза слегка побледнела,
Но шепчет упрямо: «Какое мне дело?»
В невинной белизне своей замкнулась
И от Миджнура отвернулась.
... Вдруг, будто кто-то запустил пращу,
К шипам стремительно метнулся мой пращур.
Одним ударом,
Как кинжалом,
Грудь свою пронзил он жалом...
Кровь сочилась по шипу.
Густо капала,
Луна за облаком
От боли тихо плакала,
Слез росинки
По лучам
В траву летели,
Словно арфа, Серебром
Лучи звенели.
Соловей,
К шипу прижавшись, трепетал,
Розы щедро алой стружкой поливал.

Обожженный
Струйкой крови,
Издав стон,
Розан снова
Лепестки сложил в бутон.
Капли крови,
Не окрасив лала роз,
Как горошины.
Летели в землю
Врозь...
Вот уж последняя
Капля
Сочится,
И стал
Соловей
Перед смертью
Молиться:
– О, Боже!
Не дай
Умереть мне напрасно –
Зря жизнь прожить
Ведь ужасно?
Ужасно...
Хочу завершить
Свою жизнь я
Прекрасно...
Позволь мне
В пламени бессмертия
Сгореть
И за Миджнура
Умереть.
Чужому горю
Искренне скорбя,
Я в жертву
Приношу себя...
Вот только розы
Белые
Капризны,
Пока я жив,
Открой им тайны жизни.
Услышь, О, Боже,
Мой последний глас,
Чтоб кровь моя не даром пролилась...
Молитву закончил
Тихий жалобный стон.
...Последняя капля
Упала в бутон...
Чудо свершилось!
Роза раскрылась,
Заалела и зарделась,
Алым пламенем горя,



Словно вешняя заря!
Розы
Одна за другою
Зарделись,
Вспыхнув.
Как факел
В ночи разгорелись.
Миджнур,
Презирая
Шипов жгучий пикет,
Спешил,
Собирая
Волшебный букет.
Безжалостно
Жала
Терзали
Ладони,
(Миджнур торопился
В страхе погони).
И вот,
Он прошел
Через горы, холмы,
Туда, где извечны
Владения тьмы.
Здесь
Дева
Почила
Во власти мороза...
Алая Роза только глыбы коснулась –
Лед испарился,
И Дева проснулась.
...Дева устало на ложе привстала,
Сочные губы – цвета коралла,
Коралл, чуть раздвинувшись, жемчуг открыл,
Ясной улыбкой мир озарил,
А к ножкам точеным, босым
Тугие метнулись косы!
Шея высокая у ясноокой – страстный порыв,
Очи синие – необозримого моря разлив,
А бровей излом –
Молния и гром!
Плечи и руки – струи молочные,
Гибкость и стан – танцовщицы восточной.
А походка и стать –
Богине подстать!
В ее, как мечта, голубые глаза
Глянув, стыдливо молчит бирюза,
А ресниц опахала – черный гранит,
Были согреты зарею ланит!
Мрак отступил,
Отступило ненастье –

*К людям вернулись
И радость и счастье!
..Мой предок
В прошлом
Вправду
Пролил
Кровь!
Кровь эта
Миру
Верность
Подарила
И любовь.
И знаю я, что в брэнной сей юдоли
Нам, соловьям, божественная доля –
Украсть жизнь, сейчас и впредь,
И быть готовым умереть
Бескорыстно за дружбу и любовь –
Дарована на веки от Богов!
Известно испокон веков:
Такое счастье лишь искренним дается...
И жизнь, и смерть нам удастся!
Это не вздор, поверьте, и не гонор,
Я – ЖРЕЦ Любви, Я – Жизни ДОНОР!*

На огромной лесной поляне, под могучим раскидистым дубом устроена была сцена. Вокруг нее широким амфитеатром со множеством рядов стояли бревенчатые стулья. С одной стороны сцены, увитой цветами, располагалась ложа членов жюри. С другой стороны была ложа царя царей всех птиц – Орла.

Со всего света слетелись птицы: друзья, родственники, знакомые, праздные наблюдатели и... Было создано жюри. Председателем назначили Малиновку. На месте были и будущие участники состязания – Кукушка со своим гордо выступающим учеником и седовласый Соловей с молодым другом Мгосани. Вокруг них толпились любопытные, с интересом разглядывали их и о чем-то тихо перешептывались между собой.

Раздвинув плотное кольцо любопытных, члены жюри подошли к соперничающим птицам, чтобы задать несколько вопросов.

– Скажите, пожалуйста, почему Вы решили выступить в столь странном состязании? На наш взгляд Вы ничего дурного не совершили – обратилась Малиновка к соловьям с вопросом.

– Мы, смертные, требуем от других хороших поступков, тычем в чужие уродства и уходим из жизни с разочарованием только потому, что, прежде всего, глубоко ошибаемся в себе. Ошибка эта, с одной стороны, причина всех разрушений и бед, и в этом ее отрицательное значение. С другой стороны, она определяет весь поступательный ход истории, и в этом ее положительное значение. Вот почему мы сочли обязательным принять вызов. От борьбы не оказываются, ибо она неизбежна для тех, кто хочет жить, – ответил седовласый Соловей.

– А что Вы можете сказать по этому поводу? – спросила Кукушку Малиновка.

– Действительно, это так. Все мы пишем местоимение «Я» с большой буквы. Однако, если это «Я» для многих не что иное, как синтаксическая привилегия, то в жизни лишь немногим удастся скрыть в ней свое действительно масштабное достоинство, – с необычайной напыщенностью, важно, ответила Кукушка.

– Почему, в таком случае, Вы сами затеяли это состязание? Чтобы отказаться от него. неужто

недостаточно множества разбитых Вами материнских сердец, горьких слез, пролитых ими по своим малюткам?

– Мать за свое дитя прячется чаще, чем наоборот, – ответила Кукушка, – и заметьте себе, что, если в одном случае – это наивная реакция самозащиты, вызывающая в нас улыбку умиления и чувство прощения к маленькому проказнику, то в другом случае – это сознательная акция агрессии или лицемерное алиби взрослого, вызывающее в нас озлобление, которое мы никогда не забываем, никогда не прощаем из-за бессовестной эксплуатации святости детей. Соловьи наглухо закрыли двери своих гнезд для наших малюток – кукушат... Согласитесь же, что это бессердечно. Бессердечно и жестоко именно от тех, кто так много способен сказать о любви. Сколько раз я с горечью чувствовал цену искренней любви, находимой мною в соловьиных гнездах... Если такая любовь вблизи вас, то это большое утешение в горестях жизни. Если она вдалеке, то это вдохновение уму и прибежище мысли.

– Любовь! – восторженно прошептала Малиновка и задумалась, затем, встрепенувшись от охвативших ее мыслей, обратилась к Мгосани.

– Скажите, пожалуйста, что такое любовь?

– Любовь – это общность целей и дееспособность в отношении. Чем больше обеспеченных общих целей, тем глубже любовь и, наоборот.

– А существует ли любовь в чистом виде? – вновь задала вопрос Малиновка.

– Чистая любовь бывает в неуловимый переходный период между отрочеством и юностью.

– Поясните, пожалуйста, мысль, – вновь последовал вопрос Малиновки.

– Переход от невежественной наивности, знающей цель, но не способной к действию в достижении этой цели в отроческом возрасте, – к юношескому возрасту, выбирающему цель, сообразно своим возможностям, характеризуется единственной, естественной дееспособной целью – ЛЮБОВЬЮ. Именно в этот переходный период это чувство имеет самые нежные, самые тонкие, самые глубокие и поэтические проявления. Это и есть любовь в чистом виде, ее, так сказать, голубой кристалл. Все остальное: очаг, дети, верность и взаимопонимание – обрамление. Достойное обрамление еще более подчеркивает магическую прелесть кристалла, и как жаль, что порой недостойное обрамление уродует первозданную прелесть кристалла...

– Каково Ваше мнение по данному вопросу? – был задан вопрос Петуху.

– Я лишь частично разделяю мнение Соловья. В переходный период между отрочеством и юностью все движения души еще искренни, и очень трудно понять, что осмотрительность, то есть искусство обнаруживать лишь часть своей жизни, своих мыслей, чувств и впечатлений, составляет главное достоинство личности.

– Что Вы хотите этим сказать? – раздался вопрос одного из членов жюри.

– С горячим сердцем и огнем в крови нам удастся сохранить холодный ум, ибо мы предпочитаем более просвещенные и цивилизованные нравы, которые Вы, к сожалению, осмеиваете с преступной циничностью.

– Возможно, вы правы, – был ему ответ, – только нам кажется, что нельзя говорить о любви там, где даже попросту упоминается слово «гарем».

– Почему же? – вспыхнув, ответил Петух. – Вот Вы сами, например, разве Вы не предпочитаете пышный букет одинокому цветку? Гарем!.. Да Вы понимаете, что это такое?! Одна жена – один цветок, и как его ни крути, букета из него не сделаешь. Один есть один, а гарем – это удивительный ансамбль. Очень много умения, энергии и сил, а главное, мужества необходимо для того, чтобы создать такой исключительно неповторимый букет. Итак, как видите, умение создавать такие ансамбли-букеты, – это Вам не Ана-Бана, а искусство ИКЭБАНА!

Наконец, каждого участника турнира попросили ответить на три одинаковых вопроса:

– Как Вы понимаете молодость? Зрелость? Старость?

Соловьи ответили так:

– Молодость – это мечты и грезы.

Зрелость – это высшее интеллектуальное наслаждение полнотой собственного «Я».

Старость – это ясность в понимании жизни, и потому это – заботы, заботы и труд, во имя

утверждения добра и отрицания зла.

Ответы Петуха были настолько же неожиданными, насколько и своеобразными:

– Молодость – это воспитание духа и укрепление тела.

Зрелость – это бесконечные громкие турниры и славные победы.

Нам стареть не дано, ибо герои своею смертью не умирают.

Члены жюри выразили им свою благодарность и, пожелав успехов в состязании, удалились в свою ложу.

Многотысячная птичья аудитория замерла, когда на сцену вышел павлин с широко распушенным красочным хвостом.

Жутким голосом он провозгласил:

– Внимание! Начинаем состязание, на сцену приглашается Петух! Прошу.

Аудитория встретила выход Петуха сдержанным гулом, только куры, по праву домочадцев захватившие первые ряды партера, неистово хлопали крыльями, истошно кудахтали, выражая безграничный восторг и восхищение своему повелителю.

Наконец куры уgomонились, и Петух запел под аккомпанемент «чонгури». Пел он очень уверенно и весьма убедительно:

*В краю волшебном на Востоке,
Где всех наук лежат истоки,
Там, где искусств происхождение,
О соловьях бытует заблуждение:
Мол, если Соловей такой певец искусный,
То, значит, и язык имеет очень вкусный...
По всем садам Востока их ловили,
И повара искусные кормили
Раджей, султанов, шахов, беев
(обед такой не для плебеев).
Для блюда нужно их не меньше тыщи,
Но что-то странной получилась пища –
Нет вкуса в ней ну ни на йоту,
Да не уймешь потом икоту;
К тому же, если переест немного –
Измучит Вас ужасная изжога.
...Однажды Шах, как полуночный мим,
В сад ускользнул, изжогою томим,
И там услышал он чарующие трели
Живого Соловья.*

(Варенье – в его желудке прели)!

– Как сладостно один язык поет.

А сколько их во мне?! И что это дает?!

*Меж съеденным с поющим нет никакого сходства –
Живому соловью даю я превосходство.*

*...Тут из кустов вспорхнула птаха,
Не в меру чувственного шаха
Эта бессовестная птичка
Нравоученьями насильно стала пичкать:
– Как можно, Шах, это ж грешно
Мясное есть, и пить вино,
Впадать в азарт, иметь наложниц,
И развращать невинных скромниц...
Тебе нужна занятий смена –
Иначе, ждет тебя Геена!*

Ты блудишь, пьешь, не зная меры,
В стране ж с тебя берут примеры, и в прошлом мощная держава
Сейчас лишь пьяная орава.
В стране утеряна мораль...
И плел, и плел такое этот враль,
Что мне всего и не сказать...
Ему давно б и перестать,
А он без устали свою шарманку крутит,
И все сильнее воду мутит:
– Любезный Шах, мой милый друг!
Сей разорви порочный круг.
Ты должен срочно, повсеместно
Восстановить законность, честность!
Чтоб беззакония пресечь, –
Виновных нужно жестко сечь
И утвердить во всем мораль
(Я ж говорил – отменный враль)!
Обильных доводов подействовал дурман...
Смотрю, мой Шах – изысканный гурман,
Ценитель соловьиных языков –
Готов!
Любитель наслаждений, пьянства –
Покорный раб вегетарианства...
Он пресною петрушкою хрустит,
По «Хванчкара»* волиебному грустит,
Да наяву бедняге мнится
Ортачальская** девица...
Вздыхнув тоскливо так, несмело,
Шах возопил с тоской щемящей:
– Найди моим занятиям смену,
Не то, гляди, – сыграю в ящик!..
– Тебе, Владыка, не по чину
Тоска зеленая, кручина,
И коль тебе такое претит –
Снимаю со всего запреты.
Ты можешь выпить дивный «Греми»***
И позабавиться в гареме,
Мы ж умастим твой дух мятежный,
Весной зальемся песней нежной...
Твой обласкаем шахский слух,
А на мясное
Пойдет откормленный...Петух.
(Раз Соловей певец отменный,
Выходит я, Петух, – никчемный?!)
И вот
Петух идет на эшафот!
Всю пылкость сердца,

* Грузинское вино.

** Картина Пиромани.

*** Грузинский коньяк.

*Силу шпор,
И весь свой огненный убор
За языки презренной птахи,
Не затевая лишний спор,
Принес на плаху,
Под
Топор...
О! Если вдруг у Вас
В саду захватит дух
От лицемерных соловьиных трелей,
То, значит, где-то не споет Петух –
Его на ужин люди съели...
За то, что тишину лесов
Лай не тревожит гончих псов;
За то, что на току, как встарь,
В любовной пляске носится глухарь;
За то, что Горлица воркует,
Кукушка по весне кукует,
За то, что в небе журавель парит –
Всем надо КУР благодарить!
Охотники про дичь забыли,
Наевшись вдоволь «чахохбили»**

Петух закончил выступление. Зал притаился, замер и вдруг взорвался страстями. Трудно передать, что в зале творилось. Мнения разделились...

– Бис!

– Браво!

– Со сцены долой!..

– Недурно, право...

– Пойдем-ка лучше домой.

– А что Орел?

– Потихие, осел!

Орел не славен речами, он только сверкнул очами. Зал замер...

– Продолжайте экзамен.

Тут же было объявлено выступление соловьев.

На сцену вышли двое, седовласый Соловей и его молодой друг - Мгосани. Низко поклонившись публике, они приготовились петь.

– Ну и заморыш!.. Разве это кавалер? – презрительно зашушукались куры.

...Вот тут, читатель этой сказки прекрасной, подлинных песен ждешь ты напрасно. Чтоб описать, о чем соловьи там пели... мне нужен язык и мастерство Руставели, я же и так утомил вас изрядно, а все потому, что сказитель я заурядный...

Звук этих песен в моих ушах до сих пор не утих. Признаться, прошел с тех пор не так уж и большой срок, но мой бедный язык не способен повторить тех волшебных строк. К сожалению, не сохранилось и партитуры, поэтому я позволю себе передать своими словами все, что слышал в натуре, лишь кое-где невинный штрих мой украсит белый стих.

* Грузинское блюдо из курятины.

Песня седовласого Соловья:

Кто видел в клетке соловья?! Любитель он свободы. Любовь в оковы не возьмешь!.. Хотя и обширен птичий двор – все ж обнесен оградой... Иной хвастливый Властелин в нем кичится свободой. Не то, чтобы друзей в несчастье поддержать, утешить, разорвать оковы, – он сам готов их растерзать, глаз выклевать и утвердиться «Богом». Любовь еще нигде не покорялась силе, она насилью – грозный бастион, и лишь она одна – надежда миру – сберечь покой и сладкий сон птенцов. Свободу любящий–герой, он гимны ей поет и без раздумья жертвует собой...

В гареме похоть, нету там любви. Не верите? Спросите у наложниц. Им хочется испить нектар любви, но нет его – один всех не напоит. Как бы прекрасна ни была наложница, она всего лишь рабски вам верна. Искать любовь в гареме?! Тщетно! Наложниц сердце – безответно!

Песня Мгосани:

У настоящей любви три времени дня. Для двух сердец любовь _ заря. Любви волшебство предвещая, солнце утро озаряет, горит в хрустальных капельках росы. Начало любви – прекрасней утренней зари. Начало любви – это особый восход солнца, это особое синее небо и это особые теплые, золотистые лучи, нежные и многообещающие. Прекрасно утро Любви... А любовь, как солнце, в зенит поднимается, пламенеет, накаляется и вступает во все свои прекрасные права. Неповторимы ощущения ясного полудня...

Солнце знойное и жгучее, ласкает и нежит и не терпит лжи. Ложь, как грозная туча, заволакивает ясное небо влюбленных, и чем больше фальши, тем страшнее раскаты грома, лишаящие влюбленных покоя, света и тепла... Пусть не думают, что, достигнув зенита, любовь проходит. Обилие нежных чувств не переходит в равнодушие. Нет. Ведь солнце с небосклона не сорвешь! Оно само спокойно ляжет к горизонту. О! Как красив закат... Нет большей в мире красоты. Он как итог всего долгого и прекрасного дня. В нем есть свое неповторимое очарование. Закат багряно светит для двоих... Любовь только изменила краски и жар двух преданных, навеки влюбленных сердец и... снова мечты и новые надежды и первая печальная слеза, первая седая грусть... Величествен закат... и пусть, пусть погаснет он, чтобы с восходом новым вновь зажечь у юности зарницу любовь.

Огромная поляна словно взорвалась от оваций. Даже ОРЕЛ стоя рукоплескал истинным мастерам. Орел вскоре удалился, чтобы отдать необходимые распоряжения.

...Кукушка окончательно была развенчана. По приказу Орла ей поручили самую черную работу в лесу: она очищает лес от мохнатых гусениц, которых кроме нее никто не трогает.

Петух вообще был изгнан из лесного царства – недаром говорится, что “задира Коршун кончит на насесте!” Вот только люди – непонятно почему – приютили Петуха. Приютили и даже назвали божьей птицей... Говорят, что в полуночном его крике людям слышится: “Петр отрекся... Петр отрекся... Петр отрекся”, а в предутренних криках молодых петушков людям чудится: “Раскаялся... Раскаялся”.

Лесную поляну срочно приспособили под банкетный зал. Был накрыт праздничный стол, обильно уставленный разными яствами и, конечно же, было изобилие вина. Вино было наилучшее – Киндзмараули!

Гости нетерпеливо слонялись поодаль. Им не терпелось приступить к пиршеству. Однако не было видно Орла, а без него, естественно, никто не смел даже заикнуться о своем нетерпении. Орел в это время, в торжественной обстановке, в кругу своих приближенных принимал победителей и вел с ними беседу.

– Мы получили большое удовлетворение, слушая вас, – говорил Орел Соловью. Надеюсь, вы украсите наше общество за вечерним празднеством?

– Я весьма признателен Вам, Ваше величество, за оказываемую мне честь, но боюсь, что если Вы не примете определенных мер, то торжественный вечер может завершиться весьма трагично.

Орел грозно сверкнул глазами. Присутствующие в страхе замерли.

– Что вы имеете в виду? – стальным голосом спросил царь царей.



Мгосани, ничего не скрывая и ни от кого не таясь, поведал царю царей о заговоре ворон. Орел по-особенному глянул на своего военачальника – ясного Сокола, и тот, понимая кивнув, стремительно вылетел из царского дворца. Орел обратился к Соловью:

– Вы можете не волноваться, вам будет выделена особая охрана. Ни одно перышко не упадет с вашей головы.

– Говорить правду, прося о защите, и гнусно, и трусливо. Настоящий герой тот, кто говорит о ней без страха и сожаления, и если при этом он твердо знает, на что идет, – спокойно ответил Мгосани.

Сокол Сапсан, первый визирь Орла, склонился к своему удивленному повелителю и тихо прошептал:

– Ваше величество, не мешайте ему... Правдолюбец – это амплуа. Амплуа опасное, но почетное для честолюбивого правдолюбца.

– В таком случае я позволю себе предложить вам памятный подарок, – миролюбиво предложил грозный государь своему странному подданному.

– Прошу меня извинить, Ваша честь, но подарок по данному случаю означал бы плату, которая сделает из меня грязного предателя, – с восхитительным достоинством ответил Мгосани. Мне же достаточно счастливого чувства, которое я испытываю от того, что предотвратил ненужное кровопролитие и разорение множества гнезд и в эту ясную звездную ночь сохранил безмятежный и сладкий сон множества птенцов.

– Хорошо. Есть ли у Вас свое пожелание? – сухо прозвучал вопрос государя.

– Да. Не запрещайте птицам вольно петь!..

– Постараюсь помнить об этом всегда, – глубокомысленно ответил Орел. Крепко пожав крыло Соловью, он удалился к нетерпеливо ждущим его появления гостям. Направляясь к праздничному столу, он вел неторопливую беседу со своим первым вельможей.

– Ваше величество, – говорил первый визирь. – Обещание свободы слова, данное Вами, будит нездоровые страсти равенства и свободы среди невежественных, ибо невежество самонадеянно, а страсти – слепы. Невежественная сила порождает невежественные притязания, невежественные притязания порождают грубые права, разрушения, жертвы.

– Мой друг! Дух равенства и свободы во всей его непреклонности представляет неизбежно временную болезнь, тем менее бурную и тем более короткую, чем слабее оказываемое ему сопротивление.

Тем не менее, нельзя не опасаться птиц, привыкших определять свои права своими притязаниями, а свои притязания – своею силою. Наша история – печальный пример того, что разрушительный дух проявляется именно в тех местах, в которых облегчается общение. Во избежание всеобщей смуты, могущей разбудить в душах пирующих дремлющие в них пороки и нездоровые страсти, необходимо отменить торжество и объявить военное положение.

– Создание реальной опасности во избежание возможного преступления – плохая политика. Нравы подданных в периоды смуты шатки, но мораль толпы, даже обладающей пороками, строга.

Именно это свойство проявляется в минуты национальной опасности, именно оно вызывает мобильность и стойкость подданных перед лицом всеобщей опасности. Я уже принял меры и считаю, что их вполне достаточно...

– Громовые раскаты “Ура!” встретили появление царя царей и первого визиря.

В приемной Орла остался только Мгосани и “замешкавшийся” Стервятник. Злобно сверкнув глазами, Стервятник прошипел на ухо Соловью:

– Чего лезешь не в свое дело? Нам всем безделье надоело. Царя давно менять пора, стервятники умней Орла.

– Меняли мы владык не раз и два, а в мире лучше становилось лишь едва от порабощений смен порабощеньем, – спокойно и без страха ответил Соловей. – И войн мы видели немало,

горы трупов, кровь и слез моря, но разве в мире лучше стало?! И птицы стали хуже, честно говоря... Вот потому, без лишних разговоров, я не хочу ненужных жертв, раздоров, _ сказал и вылетел в темноту навстречу неизвестности.

Стервятник, неуклюже переваливаясь на когтистых лапах, вышел к пирующим.

Веселье было в полном разгаре, ни одно обстоятельство не ускользнуло от его внимательного взгляда. Он заметил, что с каждой Вороной сидело по Ястребу. Ястребы до краев наполняли роги и, почти насильно, вливали вино в клювы ворон, затем их, изрядно захмелевших, куда-то уводили.

...Пеликан, – он был Тамада застолья – говорил наивитиеватейшие тосты в адрес царя царей и осушал задравные бокалы один за другим.

На маленький пятачок, свободный от пирующих, весело выскочили слегка захмелевшие сойки и пустились в лихой пляс Кинтаури. Их Танец сопровождала озорная песня. Цапли, аисты и журавли аккомпанировали им своими клювами:

*Сыр сулгуни, дымный мчади,
Хачапури, дивный мцвади...
Тем, кто любит жирный плов _
Стол для пириества готов!
Поросонек “ест” петрушку,
Подрумянен не на шутку.
Под орехами индюк _
Потерял башку мамлюк.
На жаровнях в раскоряку
Жарят “табака” вприсядку.
Вах-ме! Стол уже накрыт,
Выпить Бахус нам велит.
Долго умолять не надо _
Есть для этого Тамада,
Рог огромный он берет,
Опрокидывает в рот.
...Вай-вай, прежде чем напьется,
В тостах соловьем зальется.
Нажелаает так, что вроде
Не бывает и в природе!
Или Бог он, или жулик –
Пустобай, болотный кулик...
Тамада! Ах, как ты смешон,
Бог такого сам ведь лишен!
Полно, братцы, чепуха,
Кто на свете без греха?!
Грех в раю не ценится –
В аду солнцем светится...
Рай в аду и ад в раю
В нашем солнечном краю.
Джан!*

Под общий смех и веселые шутки танцующие юркнули за столы и скрылись.

Орел, скрепя сердце, тоже заплодировал Сойкам (слишком свежо было данное Соловью обещание...), но в душе его, все же остался осадок от шутливо преподнесенной откровенности. Теперь он понял, почему “откровенность всегда цинична”...

Стервятник оставил веселую шумную компанию и тайком последовал за ястребами, волочившими очередную жертву. Проследив за ними, он понял, что их всех побросали за

решетку в глубокую тюремную яму. Когда ястребы ушли, Стервятник заглянул к заключенным. Мрачная картина представилась его взору: в углу болталась повешенная, не в меру разговорчивая ворона, из-за которой и произошел этот досадный срыв. Собратья сами вынесли ей приговор. Сбившись в кучу, еще не совсем протрезвевшие, пьяными голосами пели вороны разбойничью песню, обвиняя свою судьбу:

*С тех пор как свод небесный
Прикрыл сей Мир чудесный,
Предательство гуляет среди нас,
Слегка таясь при этом
Цветет махровым цветом,
Сплетая для болванов тенета.
То ли еще будет, покуда
Живут среди нас Иу..
Э, нет, все это клевета –
Не изобретал предательства Иуда.
Предательство – оттуда,
Предательства гнусный пример
Посеял в мире Люцифер.
Вот и сейчас пьянчужку он попутал,
А нам все карты перепутал.
Когда бы Вельзевул
Пьянчужку не надул.
Отличный мы б устроили разгул...*

Стервятник не стал дожидаться, когда вороны допоят свою песню и, сорвавшись с места, умчался в ночную темноту.

...Кто-то сцапал в темноте Соловья, слышались грубые ругательства, возня, затем злобный шепот:

– Дави его, дави... Его еще Платон сделал изгоем, изгнал из своего Государства, а мы только сейчас, очухавшись, поняли, как прав был старик...

Мирно спало птичье царство, если не считать брошенных в глубокую яму.

Мирно спала земля. Сладко попискивали во сне птенцы и поглубже зарывались в теплые перья своих матерей...

Над гнездами, в темном небе, мерцали ясные звезды счастья и... только Сова всевидящими во тьме глазами видела все. Видела, как без единого стона и мольбы о пощаде погиб маленький герой, бескорыстно отдавший свою жизнь за это мирное звездное небо. Видела, как пролилась его алая кровь...

Тоскливо ухала Сова: «Донор... Донор... Донор...»

Давид бережно свернул свиток, осторожно положил его на прежнее место и в глубокой задумчивости вышел из библиотеки...

Молитва Сердца

*Что такое Свобода? – Чистая совесть?
Коринфский.*

*О, страдание! Ты – огонь, в котором сгорают все сомнения духа.
Очищенный от шелухи суеверий и страха сияет дух первозданной красотой и абсолютной силой.*

Раннее утро над болотистыми озерами было разбужено лаем собак, покрикиваниями сокольников и хлюпающими звуками. Хлюпала и чавкала вонючая жижа под ногами иного охотника, отклонившегося в сторону от охотничьей тропы.

Был лет уток. Чирки, вылетая из-за камышей, со свистом рассекали воздух, стремительно уносясь прочь от охотников. Стаями кучились утки на местных болотистых плесах, отдыхая и набираясь сил перед дальней дорогой на юг. Охотничьи псы шныряли в камышах и поднимали уток. Князь, несмотря на хмурую погоду, был приятно возбужден. Его любимый кречет

молнией срывался с руки и, стремительно настигнув добычу, ловко брал ее.

Увлеченные охотники зашли довольно далеко в болота. Кругом расстилались предательские топи. Псы с опаской пробирались вперед по подозрительной жиже и, тихо повизгивая, озирались на идущих следом ловчих. Те и сами были обеспокоены тем же, однако охотничий азарт князя отбивал у каждого из них желание даже намеком напомнить ему об осторожности.

...Из-за камышей вылетела утка и низом понеслась прочь. Князь подкинул сокола ей вслед. Спасаясь от наседавшего сокола, утка с лету нырнула в камыш. Сокол метнулся



следом. Из камышей раздалось истошное криканье...

“Сокол не отпустит добычу, а густой камыш не даст ему взмахнуть крылами, чтобы подняться в воздух”, – подумал князь и вопросительно посмотрел на потупившихся ловчих, в надежде, что кто-нибудь вызовет его любимую птицу. Он ничуть не удивился тому, что именно Али решительно ступил в болотную воду. Князь испытывал к нему расположение за его отчаянную смелость и безграничную преданность, которые тот проявлял уже не раз.

Осторожно, коротким шагом продвигался Али к застрявшим в камышах птицам. Достигнув камышей, он раздвинул их руками и проник в них. Все молча наблюдали, как покачивался камыш над продвигавшимся вперед ловчим. Вот камыш перестал покачиваться. Перестала крикать утка, и камыш вновь слегка заколебался, закивал вслед возвращающемуся.

Вздых облегчения вырвался у всех, когда Али показался из зарослей. Повидимому, Али отклонился от места, по которому он вошел в камыши, потому что на обратном пути уже с трудом вытаскивал ноги из вязкой грязи. При каждом шаге у него под ногами со свистом лопался зловонный пузырь... Вот уже намертво присосало его обе ноги... В судорожной попытке освободиться, он еще глубже застревал в топи и валился с ног. Дно, мягкое и липкое, как клей, окончательно сковало Али. Он почувствовал, как его потихоньку засасывает. Только теперь он понял, что обречен, и закричал. Всего один раз. С обидой, горечью и сожалением. Взгляд его с мольбой обратился на охотников.

Все разом зашумели, засуетились, бестолково тыкаясь во все стороны. Выброшенный конец связанных ремней упал далеко от Али, погруженного по грудь в болото. Пытаясь хоть немного удержаться, Али высоко над головой поднял рвущихся в небо птиц. Высвободив одну лапу, сокол хищно вонзил острые когти в руку несчастного. Кровь сочилась из-под когтей птицы, но Али, не чувствуя боли, крепко держал птиц, будто желая подняться ввысь на их крыльях. Теперь уже все, как по команде, посмотрели на князя, молчаливо требуя

вмешательства... Помимо искреннего беспокойства за судьбу попавшего в несчастье товарища, их взгляды возлагали на него и всю ответственность за происходящее у них на глазах, сами же, сделав все возможное, как говорится, умывали руки, хотя прекрасно понимали, что это совершенно безнадежный случай, и чуда быть не может.

Князь Давид Дадияни был ошеломлен. Никогда и никому, даже на исповеди, не смог бы он признаться, что был зачарован в эту минуту. В нем проснулись видения из прошлого, они шли из детства. Из старинных свитков, читанных ему когда-то. Перед его глазами, вновь уходя в вечность, трепетал на миг оживший бессмертный миф... Каждый заботится только о себе, и страдания его только от личных забот. Чем же, в таком случае, отличаются люди друг от друга?!.. Тем, что есть личные страдания, – это для личностей. Тем, что есть страдания за народ, – это страдания отцов нации. И если кто способен страдать за все и вся – то это и есть Божественность, а достигший этих страданий становится Божеством... Борьба! Нужно не уходить от борьбы, когда есть добро и зло, и не метаться между ними в попытке избежать ее, а принять одну ее сторону и с головой окунуться в борьбу.

Горькая усмешка скользнула по лицу утопающего, он отпустил птиц и навсегда ушел в топь. Лишь лопающиеся пузыри некоторое время нарушали тяжелую тишину, затем все сомкнулось. Осталось только кровавое пятно на рыжей поверхности болота.

Понурился, молча, как перед могилой, стояли люди у злополучного места. Потом, не проронив ни слова, надели на головы башлыки и повернули назад.

Охота была испорчена. Выбравшись на сухое место, Давид сел на поданного коня. Охотники были потрясены случившимся. Их настораживал и мрачный вид князя, с которым он ехал. Жались кучкой за его спиной, – не дай Бог, сорвет зло на ком-нибудь, что при его вспыльчивости сейчас очень легко могло произойти.

Давид, до глубины души тронутый случившимся, пытался навести порядок в своих мыслях и успокоиться. Отпустив

повод, он целиком ушел в раздумья. Конь под князем как будто чувствовал угнетенное состояние своего седока. Горячий конь, поминутно рвущий повод из рук в поисках свободы, сейчас с опаской вытянул голову далеко вперед в надежде ощутить сдерживающую руку седока. Фыркнув и мотнув головой, конь с шага перешел на неторопливую рысь, затем вдруг резко остановился, как перед незримым препятствием, и вновь потянул повод. Повод безвольно висел. Все: и резкий, рвущий губы, рывок за удила, и жгучее объятие треххвостого кнута, и острые удары колючих шпор в тугие бока, пробуждали в нем неукротимую горячность дикого мустанга, однако этот безвольно висевший повод и настороженная тишина лишали его уверенности и сил. Так и ехал князь, погруженный в раздумья, на обмякшем без его властной руки скакуне...

Али, беглый чан, мечтавший о возвращении своего народа в грузинское царство... Казалось, не захотел он уносить на дно болотное заветную мечту. Казалось, на крыльях птиц метнул он в небо синее несбывшуюся мечту свою, чтобы улетела она на Родину, вновь вселилась в сердца людей, чтобы зажечь любовью горячие и любящие сердца чанов там, далеко в Турции. Несчастный ушел в счастливом неведении относительно действительного могущества Грузии...

И сможет ли, вообще, когда-нибудь Грузия помочь своим братьям?! Во всяком случае, сейчас, когда Грузия разделена на части, нам приходится думать о своей независимости. Ираклий II присоединил Грузию к России, и только Мингрельское княжество держится в независимости. Но до каких пор?! С юга Турция и неизбежное отуречивание, с севера – Россия и потеря трона...

Давид, наконец, почувствовал угнетенное состояние коня. Он не мог не почувствовать. Обычно игривый, конь сейчас буквально прогибался под ним, еле-еле, как заезженная кляча, переставлял ноги. Усмешка скользнула под княжескими усами... “Конь не справился с предоставленной свободой. Полная свобода в минуты опасности пугает, – подумал князь, – и в тревожное время нужен

“кто-то” посильнее, кто бы взял на себя ответственность за свободу действий перед опасностью. При этом будет с кого спросить за срыв, в случае же удачи не хватит лавров на честолюбивых претендентов. Те “кто-то” для нас – царь, для царя – Бог. С именем царя нам легче и удобнее, а царю без Бога и вовсе деваться некуда...” Князь встряхнулся, расправил плечи.

– Ачу! – прогремел так желанный сейчас, полный властной силы голос Давида. Щелканье кнута и резко натянутый повод подняли на дыбы обмякшего коня, и в следующее мгновение по полю легко и свободно летел преображенный скакун.

Почувствовав перемену, все с шумным оживлением потянулись за князем. Еще не перевалило за полдень, но из-за низких облаков, надвинувшихся со стороны Анаклия, казалось, что день клонится к вечеру. В сумраке, казавшемся вечерним сквозь мелко моросивший дождь, охотники подъехали к деревне. Мелкая изморось, как звуконепроницаемый занавес, проглатывала все звуки. Мягкий стук подков по мокрой дороге не шел дальше первого всадника. Так, незаметно, подъехали к деревушке, и лишь только тогда, когда поравнялись с первым жаргвали, раздался запоздалый лай. Это был не дикий, взхлеб, лай чуткого стража деревни, это брехала обманутая предательской тишиной чуткость того тревожного времени.

Все деревенские собаки в один миг подали голос. Ловчие, переглянувшись за спиной своего князя, спустили собак. С размаху налетев на шаткий плетень передними лапами, охотничьи псы гулким лаем пытались ошеломить единственного защитника двора, да не тут-то было.

Поддержанный силами собственных стен одиночка с остекленевшими в злобе глазами, рыча и брызгая слюной, выдержал первую атаку. Одна из осаждавших бросилась вдоль плетня, как будто ища лазейки в ней, тогда как без околичностей, при желании, могла бы перемахнуть через ограду. Тут и вся свора стала метаться вдоль плетня. Казалось, найдись лазейка, и свора ворвется и растерзает самоуверенного одиночку...

Давид второй раз за сегодняшний день

поймал себя на мысли, что его интересует какой-то тайный смысл свары. Прежде всего, он заметил, что собаки великолепно разбираются в геометрии плетня. Например, если псы в азарте выскакивали из-под защиты плетня к месту, где плетень был разворочен, и их ничто не разделяло, то они начинали к чему-то принохиваться на траве. Искося поглядывая друг на друга, пригнув головы к земле, с глухим ворчанием кидались по незримой линии плетня к целой ее части и вновь принимались рычать, надежно разделенные оградой. На границе, лицом к лицу, проявление гнева опасно смертельной схваткой. Через посредника можно без стеснения махать кулаками. Бряцая себе оружием и жди, чья возьмет. “Табу границы нерушимо”, – подумал князь, видя, как даже свирепые гурийские псы не смеют ступить за плетень. Но вот одиночка неосторожно высунулся за ограду. Его моментально сбили с ног, и уже не было никакого лая, а стоял сплошной рык над грудой сцепившихся тел. Дворняжка-пес, чудом выскочив из свалки, поджав хвост, метнулся назад. Его яростно преследовали, хватая за бока и за загривок, но как только он очутился на своей территории, опомнился, стремительно развернулся и грудью сшиб наземь одного преследователя. Остальные, гордо отбредиваясь, отступили к ограде, оставив товарища в одиночной схватке. Здоровенный гурийский пес, опрокинутый наземь, вскочил, но ярость атакующего была такой невероятной, что он отступил к своим, позорно подгоняемый сзади безродным псом-дворняжкой.

“Все в жизни требует границ, всему нужно свое прикрытие, эдакая магическая ширма. Молоко прикрывается пенкой, хлеб – коркой, хитрость – личиной простака, а враждующие – посредниками. Вот хотя бы сейчас, шельмы, верно, смекнули, спустив собак мне на потеху. А ведь ничто не смягчает человека так, как вид чужой нелепой ярости”.

Гулкий бухающий лай гурийских борзых перекатывался от двора ко двору. Все с удивительной точности повторялось у ограды следующего джаргвали, с той лишь разницей, что передававший эстафету, победоносно задрал хвост, давал себя утихомирить

на смерть перепуганному хозяину, а принявший ее только-только начинал разыгрывать уже известное представление. Так вели себя молодые защитники. Там же, где были старые, съевшие зубы в подобного рода свалках, псы, дело принимало иной оборот. “Старик” издали облаивал проникших во двор пришельцев, а те с лаем шныряли вокруг на почтительном расстоянии, не смея приблизиться к нему, а затем, “расписавшись” в знак визита, яростно швыряли задними лапами мокрую землю в сторону “старика”. Хриплый брех старого делал свое дело без ненужного “рукоприкладства”. Старую собаку не просто втравить в драку.

Прошли Наразени с переполошившимися людьми и довольными собаками. Даже последняя шавка, просто подавшая голос, и та, горделиво задрал хвост, деловито обновляла старые пометки своих владений. Князь не хотел возвращаться домой в дурном расположении духа. Он видел, что настроение его несколько улучшилось и, чтобы выправить его основательно, он решил ненадолго остановиться лагерем.

Раскинутый охотничий лагерь зазвенел голосами людей. Развязали бурдюки. Развязались и языки. Из бурдюков полилось густое красное вино, с языков – веселые терпкие шутки.

– Слушай, Сепу, ты что это прячешь заветный бурдюк? – подталкивая толстяка пониже поясицы, сказал Джото, – Отдай его сюда, не то князю донесу. У Сепу был такой толстый зад, что казалось, он и впрямь сидит на бурдюке.

– Отвяжись, – устало огрызнулся Сепу.

– Джото, ты ведь знаешь его, и добром он этот бурдюк не отдаст, – ухмыляясь, подхватил шутку Гагу, – так что ты малость того, ковырни этот бурдюк кинжалом, оно и польется густо. Хочешь – сам пей, хочешь – собак угощай.

Сепу резко подскочил и, выставив вперед огромные ручки, кинулся на обидчика. Бурдюк грозно заколыхался, а Гагу под веселый хохот охотников удирает от разъяренного толстяка.

Гагу убежал к крестьянам. Те по распоряжению старосты, увязавшегося за



ними из деревни, жгли угли для шашлыка. Несколько односельчан староста прихватил с собой и направился с ними к одинокому тополю. Рядом с тополем на привязи стояла коровенка. Напуганное животное шумно фыркало. Крестьяне отвязали ее, повалили на землю и крепко спутали ей ноги. С тополя послышался жалобный плач. Это плакал пастушок. Напуганный шумом посторонних людей, он взобрался на дерево. Заслышав же родную речь, мальчик было успокоился, однако он так и просидел бы на дереве, не подав голоса, если бы не столь откровенные намерения людей, поваливших на землю его скотинку. Слезая с дерева, мальчик слёзно умолял:

– Дяденька, не режьте её, не губите меня, что я маме скажу?..

– Пошел вон, собачий сын! – рявкнул на него староста. – Убирайся, пока цел.

Оттаскивая мальчика от поваленного животного, односельчане шепнули ему:

– Беги! Приведи мать... а мы потянем с этим делом, сколько сможем.

Мальчик, сын вдовы Миранды, как потерянный, кинулся в деревню. Гагу вернулся в лагерь. Приятно пахла жарившаяся

дичь. В воздухе носился тонкий аромат вина вперемешку с дымным запахом костров. Люди кормили птиц и собак с таким видом, что непосвященный не заметил бы и тени случившегося на болоте. Смерть не пугала этих людей. Они часто заглядывали ей в глаза. Сами не раз сеяли ее вокруг себя. Ни один мужчина в то тревожное для Мингрелии время не выходил из дому, не проверив на большой палец острие кинжала. Опасностью дышало время. Опасностью, ползущей то ли в турецкую сторону, то ли в обратную. И все же необычность смерти беглого чана угнетала их, что иной раз проскальзывало намеком или двусмыслицей в их шутках.

Джото не унимался. Под общий беззлобный смех он потешался над толстяком.

– Послушай, Сепу, если ты и согласишься отлить из бурдюка, то весу в тебе все равно не убудет. Ты не забыл, что дорога в рай через пропасть идет по волосяному мосту? И держаться-то на нем не за что, так что все равно ты, Сепу, после смерти своей продавишь брюхом тот мост и загремишь к чертям на вертел. Ты, генацвале, пожалей наши души и нас вперед себя пусти, авось нам повезет, а там и сам валяй.

– У него в брюхе столько мамалыги, что его даже тысяча соколов не перенесет, – и снова не удержавшись, ядовито вернул Гагу.

– Тебя, Джото, может, и не пропущу вперед, с тобой в аду будет веселее, а вот Гагу обязательно вперед пропущу, – лукавил толстяк, – пускай идет в рай. А он там в своих циндах*(шерстяные носки) напустит такого аромату, что Бог пожалеет носы, приделанные людям.

Все так и заржали кругом. Давно привыкли узнавать Гагу в темноте. Хватаясь за нос, всяк называл его имя, даже не обернувшись к нему. Злые языки поговаривали, что вдовушка, не сумев выбить запах из его носков, в отчаянии выкинула их в речку. С тех пор, как напьются коровы ниже того злополучного места воды, так и приносят к вечеру не молоко, а перекатывающиеся в вымени сулгуни. Так и зовется та речка с тех пор Чхоушиа - Коровья.

Гагу вновь пришлось спасаться бегством от едкой шутки. Он направил свои осмеянные стопы к полянке, на которой крестьяне возились вокруг поваленной навзничь буренки. Староста ругал крестьян последними словами за нерасторопность и медлительность. Гагу без труда уловил то, как крестьяне слишком много времени уделяли всяким мелочам, а сами исподтишка поглядывали в сторону Наразени.

Наконец, накинув на рога животного веревочную петлю, резко оттянули ей голову к спутанным ногам и накрепко привязали ее к ним. Бедное животное могло лишь вращать глазами, да шевелить хвостом. Шея была выгнута колесом, мышцы натянуты, а под кожей туго пульсировала, выбегающая из глубины, набухшая жила. Оставалось только полоснуть по натянутой шее остро отточенным ножом, и веревочная петля, отводя голову в сторону, пропустит нож до шейных позвонков с первого раза. Животное тяжело дышало. Обращенный к людям выпученный от страха глаз был не черным, а темно-синим, даже фиолетовым. В нем было столько тоски, что даже выдавшие виды салахи, скользнув взглядом, отводили его в сторону. Все было готово...

– Нана, нана. Чкими цода...

Староста, весь побагровев, оглянулся на это жалостливое причитание. К нему спешила

женщина средних лет, одетая во все черное. Со следами тысяч несчастий и бед на лице, вдобавок искаженном новым ударом судьбы, с молитвенно воздетыми к небу руками являла она собой само отчаяние. Она плакала вслух, но ни единой слезинки не было на ее воспаленных веках. Слез давно уже не было у нее. Все выплакала. Зато голос ее удивительно проникновенно передавал все тончайшие оттенки человеческого горя. Это была печальная песня-плач. Она пела свою тоску. Так поют в Грузии женщины в горе своем. От такой песни стынет кровь в жилах, а слезы сами наворачиваются на глаза, и кажется, что от этой песни всюду, куда только достанет ее голос, замирает все вокруг. Тихо, еле слышно журчит ручеек, в траурном молчании пригибается к земле трава, а тополя, воздев ветви к небу, тихо шелестят листьями, вознося заупокойную молитву небесам. В песне этой женщины было жуткое одиночество, отчаяние и беззащитность.

– Пожалей моих сироток, батона. Помрут они у меня с голоду. Не губи ты у нас единственную кормилицу нашу, побойся Господа Бога Нашего!

– Фу ты, да поразит тебя черт. Перестань выть, – зашипел на вдову староста, – от такой тоски не шашлыка – веревки захочется. Вижу, ты неплохая плакальщица и при случае воспользуюсь этим. А корову, порazi меня Бог, если это корова, а не коза, мы все же прирежем. Дешево обошлась, Миранда. Ты ведь не забыла, сколько за тобой недоимок?! Ну, ничего, я человек добрый, на этом и рассчитаемся.

Снова высоко в небо плеснулась тоскливая песня, будто ища защиты у Создателя, и снова стало мрачно и тоскливо вокруг, как возле свежерытой могилы.

– Постой, тетя Миранда, я поговорю с ним, – тянул женщину за рукав стоявший рядом с ней мальчуган.

– Ах ты, безбожник, до каких пор, как пиявка, будешь ты сосать нашу кровь?! Отпусти корову, говорю, не то за все сразу заплатишь мне, как подростку, и подамся в абраги.

Кровь ударила в голову старосте. Разноцветные круги поплыли у него перед глазами. Он даже захлебнулся от ярости и уже

не слышал угроз, которыми сыпал этот сопляк. Давно задумал староста со своими верными людьми выкрасть этого мальчика и продать его туркам, да все никак не удавалось этого сделать... Когда шум в голове старосты приутих, и он вновь смог разглядеть стоявшего перед ним мальчика, его осенило: “Подсуну-ка я его под разгоряченную руку князя. Князь с ним шутить не станет – и дело с концом. Ох, и посчитаюсь я с этими Григолаия...”

– Так распорядился сам князь, батона, – насмешливо поклонившись в пояс мальчугану, вкрадчиво ответил староста. – Если угодно, сами и уговорите его. По правде говоря, я и сам этого хочу, но не могу послушаться приказа, – юлил староста.

– Пойдем к князю, ему и скажу, чья корова, – решительно, не по-детски, заявил мальчик.

Все направились к шатру. Староста подошел ко входу, завешенному пологом, остановился и выжидательно оглянулся на крестьян. Те остановились и почтительно потупили головы. Староста вошел.

– Великий князь! К Вам крестьяне пришли с жалобой, – доложил он и склонился в приветственном поклоне.

– На тебя – не иначе, – вставая, сказал князь. – Не сносить тебе головы, коли повинен, – продолжал он, наступая на него, – не смог уберечь мой покой, не сможешь ты уберечь и деревни...

В согнутом положении, как вошел в шатер, так и вышел староста из него, отступая перед наступавшим на него князем.

– Князь, смутьяне это. Нет управы на них... Грозят разбоем да расправой, – радуясь вспышке княжеского гнева, оправдывался староста.

Неприступный и властный стоял князь перед крестьянами.

Говорили у него прямо под носом; и Давид не сразу сообразил, что говорит стоявший перед ним мальчуган, на которого он как-то и не обратил внимания. Мальчик лет пяти-шести стоял в нескольких шагах от него. Огромные синие глаза не по-детски строго смотрели из-под черной бараньей папахи. Суровый взгляд его говорил о том, что с молоком матери всосал этот малыш всю смелость народных сказок. “Возможно, что и

колыбельные какие-то свои, особенные, ему пел отец, а не мать”, – подумал князь, разглядывая мальчонку, красивая одежда которого выдавала всю любовь небогатых родителей.

– А если я не покорюсь тебе, мой господин? – миролюбиво улыбнувшись ребенку, спросил князь.

Мальчуган сорвал папаху и хлопнул ею оземь. Из-под папахи на плечи мальчонки хлынула копна вьющихся золотых волос. Они густыми кольцами рассыпались у него на плечах и за спиной, золотыми завитушками упали на ровный белый лоб.

Князь невольно залюбовался ребенком. Где-то далеко в мозгу стучало сказанное малышом: “Гнездо разорю...” – и еще что-то, но слова уплывали куда-то, и смысл их не доходил до охваченного немим очарованием сознания.

“Нет, не бродить отцу твоему диким волком в лесах, не плакать матери твоей по мамелюку. Такое божество нужно мне самому. Пусть этот небесный талисман принесет, наконец, супруге моей счастье материнства и оградит ее от черного проклятия. И сокола не потерял, и Ангела приобрел. Правда, Ангел с коготками и дьявольским огоньком в глазах, да ничего... Коготки обстригу без боли, а огонь упрячу за чугунную решетку камина – пусть греет, да не жжет”, – думал князь.

– Говоришь, гнездо разоришь?! – в задумчивости повторил он слова ребенка, – что ж, пойдем в шатер, поговорим... может, миром решим наш спор – добавил князь после секундного раздумья, и жестом пригласил мальчика пройти в шатер.

Староста исподлобья метнул на князя удивленный взгляд. С папашой в руке Мераб смело направился ко входу в шатер. У входа же вдруг нерешительно остановился и оробело оглянулся на князя.

“Вот оно, священное табу границы”, – про себя отметил Давид и, откинув полог шатра, первым прошел внутрь. Мераб нерешительно проследовал за ним. Не смея сесть, стоял он перед севшим на мутаги князем, и выжидательно смотрел на него.

– Как звать тебя, мальчик? – ласково спросил Давид.

– Мераб я, сын Хуты Григолаия, – насупившись, ответил тот.



– Ну что ж, Мераб, учись уже сейчас полюбовно вершить дела. Там, где не возьмешь силой, бери умом. Вот, прими от меня это оружие в знак признательности и мирных намерений, – Давид протянул мальчику огромный сванский кинжал с рукояткой из чеканного серебра.

С трудом справляясь с такой тяжестью, Мераб все же с восхищением примерил к поясу даренное оружие. Когда же князь протянул ему в дар пистолет “Лепаж”, очарование и радость северным сиянием запылали в его огромных голубых глазах. Мальчик с восхищением разглядывал даренное оружие, гладил его ладошкой и без конца примерял его к себе, забыв обо всем на свете.

Усмешка скользнула в густых черных усах князя: “Завтра уже будет поздно, – думал он, – сегодня гусеница, а завтра бабочка – порхнет и не поймаешь...”

В шатер боком протиснулся староста. Он не знал, что же ему все-таки ответить Миранде, однако более всего его интересовало происходящее в шатре.

– Великий князь, что прикажете ответить крестьянам, – неуверенным голосом спросил он.

– А, Миранде?! – переспросил князь и

заметил, как судорожно вцепился Мераб своими ручонками в даренное оружие. С трудом глотая слюну, мальчик умоляюще посмотрел на князя, не сумев произнести при этом ни единого слова. Князь внимательно наблюдал за этой борьбой...

“Слово – дерево, на древе – плод, каково дерево, таков и плод. Я мог бы, пожалуй, надкусить так скоро созревший плод посаженного и возвращенного мною древа, однако это может прогневить небеса, и талисман потеряет свою чудодейственную силу”, – решил про себя князь.

– Отпусти ее с Богом да потрудись со всем остальным. Не ночевать же мне здесь! – с искренним раздражением присовокупил он.

Деревенский староста выскочил из шатра, насмерть перепуганный княжеским рыком. Он был бы рад избавиться от этого мирового защитника Хуты Григолаия. Он сознательно подsunул под разгоряченную руку князя сына Хуты – Мераба, одним ударом намереваясь уничтожить весь их род. Староста ожидал всего, но не этого. Так часто задуманное становится на голову, и вместо ожидаемых барышей получаем взащей. Уйдя в себя и ничего не видя вокруг, он столкнулся грудью с огромного роста мужчиной. Тот легко

отодвинул его в сторону своей мощной рукой и прошел в шатер. Хитрость пересилила страх и, обойдя шатер, староста подслушал разговор Давида Дадияни и Хуты Григолая – тот высокий мужчина был отцом Мераба. Князь говорил Хуте Григолая о том, что с этого дня Мераб будет воспитываться при дворе, и фамилия его будет Григолая, а не Григолая, что, в свою очередь, означает дворянское звание воспитанника Дадияни...

Потерявший голову староста кинулся в деревню.

Чужому всегда можно припомнить добро отданное, а зло полученное порождает месть, ибо мстить – это не только жаждать воздать за зло, но это и обида о содеянном добре, которое не было оценено.

... И потянулся из деревни караван крестьян, груженных битой птицей и фруктами, дымящимися в котелках эларджи и молодым вином, румяными поросятами и... Ни на что не скупился староста. Щедро сервировал он рождение молодого дворянина. Мазал ядом – вышло медом.

“Ошибка – мудрость, чем больше ошибка, тем больше мудрость. Прежде, чем решиться на что-нибудь, подумай, чего может стоить ошибка и, если пусто за душой – она может стоить головы. И это самая большая мудрость: бесполезная для катающейся в пыли отсеченной головы, и вразумительная для еще качающихся на чужих плечах. А я не хочу, чтобы моя голова учила этих ослов. Я отдам за свою голову выкуп, заплачу за нее сполна, не жалея ничего, лишь бы сейчас пронесло, а там, поплачет чья-то мать...” – металось в воспаленном мозгу старосты. А из деревни все тек и тек поток угощений в дар пирующим.

В сгустившихся сумерках весело плясали огни костров. В шатре Мераб Григолая принимал в гости родного отца и, если не считать Отца Небесного, то у Мераба есть еще один отец – отец его дворянского звания и новой судьбы – деревенский староста. Как часто за свалившуюся нам на голову удачу мы благодарим провидение, тогда как свечу надо ставить скрежещущему зубами невольному благодетелю. Оглянувшись кругом, по кислым улыбкам можно определить подарившего счастливое испытание...

Пир длился недолго. Князь прервал его на

той грани, когда в человеке все тянется к веселью и песне. Настроение было хорошим и незачем было ночевать в шатре, когда так близок был семейный очаг – до Зугдиди рукой подать.

Зазвенела голосами людей разбуженная ночь. Высоко поднятые над головами провожающих крестьян факелы своим теплом и светом будто приподняли тяжелые облака над землей. Легко и свободно двигались люди, седлавшие лошадей. В жилах седоков играла согретая вином кровь, а под седоками – отдохнувшие сытые кони, и потянулся этот звездно-факельный караван, будто и не было холодного облачного неба над землей. Казалось, осыпали небеса на землю все звезды Млечного Пути, чтобы жаркими факелами осветить путь новой судьбе...

Звездный караван вброд переходил неглубоким плесом разлившуюся речушку Чхоушия. Показавшаяся луна широким нимбом осветила пространство между разбегающимися в разные стороны облаками. На фоне серебристо-бледных, кажущихся неподвижными, верхних облаков стремительно грозно двигались нижние черные тучи. Сфокусированный разрывами облаков лунный свет широким снопом изливался на землю. На мгновение ожила, словно под вспышкой молнии, из мглы земля. Широкой лентой расплавленного серебра вытянулась Чхоушия. Вот заиграл в ней свет первого факела. Четкий силуэт всадника двинулся поперек зеркальной ленты, и нога в ногу зашагал его перевернутый двойник, несущий над головой холодную звезду. Вот второй всадник ступил в речку, и уже четыре иноходца, высоко поднимая ноги в разные стороны, измеряли ширину серебряной ленты... Охотники перешли, а сопровождающие крестьяне остались. Стремительно набежавшее облако наглухо заслонило луну. Серебро ленты мгновенно растворилось, будто ничего не было между движущимися в разные стороны факелами. Одними предводительствовал князь Давид Дадияни, другими – деревенский староста. Каждый из них возносил Всевышнему свою молитву и с надеждой смотрел в будущее...

Князь нежно держал завернутого в бурку ребенка. Он молил Бога о том, чтобы не

оставил он его без наследника, сохранил бы столько раз срывающуюся беременность княгини, а в благодарность судьбе он сохранит этот талисман в золотой оправе.

... За спиной у себя Давид услышал, как Гагу о чем-то рассказывал смеющимся охотникам, и сам стал прислушиваться к его нарочито громкому рассказу.

—...Весной это было. На наших холмах много не посеешь, значит, много и не пожнешь. Слава Богу, что хватает еды до весны, а весной ходишь с ремешком на последней дырочке. Правда, зелень всякая — экала, пхали — выручает, но что это за еда — сами знаете. Вернулся я домой с пахоты, еле ноги волоку и больше от голода, чем от усталости. Тут же у калитки сбросил ненавистную лопату и тохи. Дома нашел в горшочке все то же пхали недельной выделки, мигом проглотил его с кусочком холодного чурека, и показалось оно мне слаще табака. Сводило икры ног, ломило в плечах, горели ладони... Повалился я на тахту под грушей, да и заснул незаметно. Проснулся от боли в животе. Вижу — плохи дела, так и крутит всего, а тут, как назло, к нашему плетню гость на муле подъезжает. Отец навстречу ему, руками разводит — пожалуйста, хлеб-соль — и ворота пошире раскрывает. Въезжает мачанкали Калистрат. В поисках невесты для меня — если его послушать — он пол-Грузии объездил, а сейчас, мол, как раз нашел подходящую: и пригожа, и умна, и богата...

— Пожалуйста, батона Калистрат, — распинался мой отец. — Для доброго гостя, да с хорошими вестями, дом наполнится гостями, — не смея подойти к брыкающемуся мулу, частил мой отец. — Каков гость — таков и тост, — упрямо юлил мой отец.

— Гостей как раз ждут там. Если твой сын покажет себя молодцом у невесты, до утра повеселимся, — простодушно попался мачанкали.

— Хох! О чем ты говоришь?! Уже гостей пригласили? — хитровато удивился мой папаша, — Слышишь, мальчик? — обернувшись ко мне и тараща глаза, сказал мой отец. — Люди уже ждут, а ты тут прохлаждаешься... Пока соберемся да доедем, что люди скажут... Позор, позор на мою седую голову... Живо собирайся, или не видишь, что человек даже

с седла сойти не хочет...

Я-то мигом сообразил, что к чему, а посмотрели бы вы, как вытянулось лицо Калистратэ...

— Всю жизнь тем и живу, что людей на слове ловлю, а тут попал впросак, как сопляк. Пока обратно дотяну, я и ноги протяну, — довольно громко забрюзжал он, потом вдруг как вскипит: — Чего ты уставился?! Поди, хоть напиток принеси из колодца — сердце остудить.

Ясное дело, принес я мигом кувшинчик вина, лепешек да сыру, и зелени свежей побольше, — не резать же кур по весне; — пока он этим пробавлялся под грушами, мы с отцом были готовы к отъезду. Я на цыпочках, так, чтоб не трясти бурлящий живот, хожу от конюшни к дому и назад, а он зло так смотрит и, давясь холодным чуреком, цедит: — Вы посмотрите на этого болвана, он что, уже лезгинку танцует?..

Я же так животом маюсь, что свет не мил, куда, думаю, ехать, но и отказаться от поездки никак нельзя. Приподнял я свое брненное тело на цыпочки и осторожно поднялся в седло. Перекрестился, думаю: “Будь, что будет”, — и поехал, привставши на стремяна. Даже легкие толчки седла причиняли моей утробе нестерпимые боли, вот я и норовил все вперед, подальше от попутчиков, за поворот... Отец по-своему объяснял “торопливость”, Калистрат слушал его с кислым видом, или делал вид, что слушает, только было видно, как он еле держится в седле от голода и усталости. За каждым поворотом чувствовал я себя блаженным, но немного погодя, перед новым зигзагом, вновь испытывал известное нетерпение... Возле Рухи через дорогу ручеек такой, в Ингури впадает. Лошадь моя с норовом, а тут я всю дорогу приподнявшись на стремянах еду, так она возьми и махни через тот ручей. Тяжело ударился я в седло и... заскользил в собственных портках.

В этом же ручье помылся я, сапоги сполоснул, одел, а портки — под седло. Подъехавшие попутчики увидели меня, когда я уже в лицо себе плескал прохладной водой.

— Освежись, сынок, успокойся, — говорит мне отец и лихо подкручивает ус. — Держи себя достойно...

Не пойму, что же все-таки помогло – купание ли, близость смотрин – только мне от чего-то полегчало, и поплелся я следом за старшими, соображая, а что дальше будет. Коп-коп конские копыта, хлюп-хлюп вода в сапогах...

Встретили нас с осторожностью. Девушка мне понравилась, и я, видно, пришелся ей по нраву. Обе стороны, получив наше согласие, решили отметить это событие. Ближе к вечеру стали собираться гости. К этому времени Калистратэ до одури наигрался в нарды с приглашенными и даже успел с ними повздорить. Его уличили в обмане, да только я да мой отец знали, что не жульничает бедолага ни в чем: от голода мерещились ему ду-шаши вместо шаши-ду.

Выручили всех тем, что пригласили к столу, да к какому! Не то, что у Калистратэ – у нас глаза разбежались. Никогда в жизни не пил я столько вина. Уже и по домам разошлись захмелевшие гости, уже и отца моего, и Калистратэ под руки увели поживать, а я все держусь против тамады. При мысли, что меня, пьяного, будут спать укладывать, а я, как изволили слышать, без исподников, совершенно трезвел и вел нескончаемый поединок с тамадой. Напоил-таки я его, да так, что под руки вести пришлось, но и меня вино, благослови его Бог, одолело. Положил я голову на краешек стола и через хмельной туман пытаюсь что-то сообразить. Тут, чувствую, чьи-то робкие руки пытаются меня приподнять из-за стола. Это она, невестушка моя, с мамашею. Повели меня под руки, на тахту уложили. Притворился я, что сплю, а сам через щелки глаз наблюдаю, что же дальше то будет. Вдвоем потянули сапоги и с хлюпаньем стянули с ног. Девушка носом так повела, мать ей и говорит, что у всех мужиков так, и ты, мол, привыкай. Потом, к ужасу моему, беззастенчиво так маманя взялась за ремешок, да разве я отпущу. Старая ведьма разжала мне руку и... охнула дивчина моя, и осела на пол. Подхватила ее мамонька под руки, и кинулись они из светелки. Выскочил и я на широкий балкон. Светало, это значит, я с честной братией всю-то ночь протягался. Во дворе визг, лай. Со всей деревни набежали свиньи, что-то бело-зеленое возят по земле, а собаки их покусывают. Узнал я портки свои.

Из-под седла, видать, вывалились. Поскорей я сел на своего коня и поминай, как звали. С тех пор ноги у меня немного того...

Стонала и охала от хохота холодная ночь. Постоянно страдавший от злых насмешек Гагу, не ясно, почему, решил рассказать всем о своей тайне. Своей откровенностью он обезоружил своих насмешников, и любая шутка по известному поводу в его адрес становилась отныне безобидной.

Грянула песня.

*Гей, крылатый конь, скачи,
Длань деяния мечи,
Пусть булатной стали меч
Там, где нужно, будет сечь.*

*Дети – это избавленье
Нам от наших заблуждений,
Где бессильна наша суть,
Дети свой проложат путь!*

*Пока меч держать могу –
Не топтать поля врагу.
Ратной жизни смысл таков:
Защитить поля и кров,*

*Жен своих и матерей
От врага, что злей и злей.
Но и мы, ведь, тверже стали...
Меч в руках грузинской стали.*

*Дети – это избавленье
Нам от наших заблуждений,
В чем бессильна наша суть –
Дети свой проложат путь.*

*Наших битв итог суров:
Плач сирот и слезы вдов.
Гибнем мы за ратью рать,
Зло не можем покарать.*

*Подарить угодно небу
Нам прекрасную победу.
Избавитель – средь детей.
Гей, крылатый, гей-гей-гей!*

*Знает он, что мир возможен,
И чтоб всех нас оградить,
Он не меч на зло из ножен –
Сердце вырвет из груди.*

*Дети – это избавленье
Нам от наших заблуждений,
Где бессильна наша суть,
Дети свой проложат путь!*

“Сколько раз слышал я эту походную песню, – думал князь, – а смысл ее для меня неисчерпаем... Народу нашему благословение и покровительство дано Святым Георгием, ибо только силой могут они попирать то зло, что так неотступно преследует Родину нашу. Мы, отцы нации, в отличие от народа, идем под знаменем Архангела Михаила, ибо подвластна нам Сила Господня обращения зла в добро Любовью, но и соблазны наши человеческие преследуют нас, ибо мы люди. Соблазненными караем мы мечом разящим то зло, с которым любовь наша неокрепшая совладать не в силах, и восстают тогда некогда попранные силой: огнем полыхают города и веши с таким трудом завоеванного, где силой, а где и любовью, тыла, и рушатся устои нации, а народы извергают проклятия на головы отцов своих. Только Господь, который никогда не покидает нас, стена за заблудших, не устает напоминать нам о заветах своих. Тогда начинаем мы все сызнова, и сызнова же погрязаем в соблазнах. Наглухо закрываем души наши перед Святым Духом – нашим истинным “Я”, стремящимся вселиться в каждого из нас, в слепоте неведения нашего взращиваем полную спеси гордыню нашу на новые разрушения и разочарования, пока не явится Сам Спаситель и не скажет: “ВЕРУЙ”. Тогда тот, кому будет сказано это божественное слово, сам становится святым во имя и во славу Сына Божьего – Спасителя рода человеческого...”

Столичный дворец встретил князя освещенными окнами. Придворные и слуги стояли у парадной в ожидании князя на сей раз без привычного оживления. Казалось, все затаились и к чему-то прислушиваются. Подъехав поближе, Великий князь понял, в чем дело. Слушали необычайно прелестную музыку, струившуюся из открытого окна княгини Екатерины. Мягкие приглушенные звуки рояля, прекрасная поэтичная мелодия завораживали слушателей.

Князь представил себе свою супругу: вот ее руки грациозно движутся в такт мелодии, а пальцы, легко скользя по клавиатуре, мягко погружаются в нее. Музыка создавала впечатление полета лебедей, а поэтичность мелодии и проникновенное ее исполнение были поистине потрясающими. Он вспомнил игру своей супруги в салоне князя Александра Чавчавадзе, когда она в окружении поклонников своего таланта долго держала почтенную публику в напряжении. Однако сегодняшняя ее игра была ни с чем не сравнима. И это было так. Тому были свои причины. Незадолго до этого княгиня Екатерина читала стихи Николоза Бараташвили. При чтении в ней, как отзвук на стихи великого поэта, зазвучала струна. Ее звучание она выразила в стихах:

*В небесной сини пара лебедей
Несла судьбу над судьбами людей.*

*Задумчиво скользил поэта скорбный взгляд
– Их царственный полет и взмахи крыльев в лад.*

*Лебедушка волшебное перо
Поэту обронила на чело.*

*Перо шепнуло с болью: “Не грусти,
Забудь “серьгу Сильфиды” и прости...”*

*Но был ответ: “Чтоб я ЛЮБОВЬ предал?!
Нет! Не могу...” Создал*

*Он тем пером крылатого Мерани
И молнией умчался сквозь злобный окрик
враний...*

*Унес его скакун к пределам мирозданья
Унес в миры, где нет уже страданья.*

Княгиня чувствовала, что она многое не досказала, “не хватило слов” и потому решила высказать недосказанное языком Богов – Музыкой, в чем она была более искушена.

Долго еще в душе слушателей звучала мелодия. Князь Чиковани бережно принял из рук Давида завернутого в бурку ребенка.

– Вели ребенка привести в порядок, затем представь его княгине, – сказал ему князь, –

отныне он будет расти при дворе, – добавил он значительно.

Вскоре их беседу прервал настойчивый звонок слуги.

– Позвольте доложить, великий князь, – отвесив поклон, с почтением обратился слуга к Давиду.

– Случилось что-нибудь? – с некоторым удивлением спросил он вошедшего слугу.

– Великий князь, княгиня срочно просит вас к себе, – доложил слуга.

– Ступай, передай княгине, что сейчас буду.

Когда слуга вышел, он повернулся к князю Чиковани:

– Пригласи на завтра настоятеля Чкондидели. Сейчас прошу меня извинить, я должен посетить княгиню.

– Спокойной ночи, князь.

– Спокойной ночи, мой друг, – ответил ему Давид и направился к покоям княгини Екатерины. Негромко позвонив кольцом в львиной пасти, он вошел. В покоях было довольно светло. В одной из жирандолей горели все свечи, княгиня Екатерина мгновением раньше успела причесать Мераба. Она так и сидела с инкрустированным перламутром и серебром черепаховым гребешком в руках и любовалась, глядя на Мераба.

Переливающиеся в свете свечей золотые локоны пушистым веером ниспадали на плечи мальчика. Свежий, после купания, румянец алел на белоснежном личике ребенка. Огромные голубые глаза доверчиво глядели на княгиню.

Княгиня и рта не дала открыть своему супругу. Вихрем полетели в его адрес ее упрёки:

– В каком саду сорвал ты этот райский цветок? Какая мать обезумела этой ночью, и что ты собираешься делать с этим божественным созданием?

– Княгиня, – так же по-русски, чтобы не смущать ребенка, ответил Давид, – этот ангел ниспослан нам провидением живым талисманом тому, кто пока еще у тебя под сердцем, а нам с тобой будет любящим воспитанником.

С этими словами он снял со своей груди золотой крест с распятием и, подойдя к Мерабу, повесил ему на грудь.

Золотая цепь, будто сотканная из вьющихся локонов ребенка, желтой змейкой выбежала из-за шейки, метнулась вниз по детской грудке, проскользнула сквозь ушко креста и, переливаясь чешуйками колец, умчалась вверх, где вновь растворилась в пушистом золоте волос. Давид поцеловал Мераба в чело, затем руку княгине и, пожелав им спокойной ночи, удалился.

Успокоенная княгиня стала расспрашивать Мераба обо всем, что с ним приключилось, и о том, как он очутился в Зугдидском дворце. Узнав подробности, она усмотрела дерзость в его поступке и решила наставить его.

– Испокон веков ведется, что слуга должен повиноваться своему господину. “Не может быть нарушено писание” – сказал Господь. Нельзя вырастить кукурузы, не прополов ее много раз от сорных трав, так и человек, мой милый, – мягко и ласково говорила она, – не может стать воспитанным, не поборов в себе своих дурных привычек. Дурные привычки, как сорные травы, очень живучи, и с ними нужно упорно бороться, пока не победишь все...

– Но ведь моя дурная выходка спасла буренку, она спасет сирот, разве это не богоугодное дело?! – несмело спросил мальчик княгиню.

Екатерина опешила от неожиданности.

“Чтоб спасти одно создание, должен Бог казнить другое” – мелькнули в ее памяти строчки великого Шота Руставели, и преисполненная нежных чувств к этому, не только внешне очаровательному, но и смышленому созданию, ласково прижала его к своей груди и поцеловала. Поцеловала первый раз в своей жизни по-матерински, как родное дитя, безо всякого внутреннего сопротивления, с каким обычно целовала



чужих детей, и... вдруг почувствовала легкий толчок. Она замерла, с волнением прислушиваясь к движению жизни... Это было первое шевеление во чреве, плоть от плоти ее родного ребенка. Вся во власти переживаемых чувств, она уложила спать Мераба и прилегла рядом с ним. Утомленный обилием впечатлений дня, Мераб сладко уснул. Разглядывая спящего ребенка, она загадывала черты своего... Еле заметная, освещенная внутренним светом улыбка не сходила с ее прекрасного лица.

Вдруг длинные тени ресниц на лице спящего задвигались, то удлиняясь, то становясь короче. Княгиня перевела взгляд на качающееся пламя свечей, затем на дверь. Дверь едва приоткрылась, и оттуда еле заметно тянуло сквозняком. Ей послышался шепот и там, за дверью, казалось, кто-то кому-то сопротивлялся, молил:

– Вар!.. Вар!.. Акаша моко чкими скуасу кимводжину...*

Тяжело перевернувшись в постели, княгиня встала, подошла к двери и быстро отворила ее. Как тени, метнулись от нее напуганные служанки, оставив на коленях перед ней какую-то женщину.

– Моя повелительница, моя добродетельница, не дай мне умереть, не взглянув на родное дитя... Прости мне дерзость мою... Всю жизнь буду молиться Господу Богу, чтобы ниспослал он тебе материнство счастливое...

Тихо, сквозь слезы, говорила женщина, стоявшая на коленях. Екатерина попыталась оторвать ее от своего подола и поставить перед собой. Ей страстно захотелось взглянуть в лицо женщины, родившей Ангела, но та судорожно уцепилась за ее подол, целовала его и сквозь слезы умоляла разрешить взглянуть на своего сына.

– Успокойся, взгляни на него и не потревожь его сон, – ласково, полушепотом успокоила она Агату.

Два бездонных голубых озера обратились к Екатерине. Вслед мыслям надежды и доверия расширились зрачки, и тут же сомнение вновь

сжимало их в колкие холодные булавоочные острия. Надежда и сомнение тенями агатовых ресниц металась по влажным берегам голубых озер. Глаза то излучали мольбу, то обжигали местью... Екатерина молча подвела Агату к спящему.**

– ...Нана скуа! – вырвалось у бедной женщины. Опустившись на колени, она полными слез глазами разглядывала любимые черты. Не смея прикоснуться к сыну, она тенью своей руки гладила и ласкала его, без конца повторяя: – Нана, нана, нана скуа.

Лицо ребенка разгладилось и заалело. Еле заметная легкая улыбка скользнула на его личике и ярким светом озарила его... Материнское сердце не выдержало, и Агата, повернувшись к образам, стала молиться вслух:

– О, Боже, Всемогущий и Всеведающий! Ни о чем не прошу тебя для себя. Дай княгине материнство счастливое, подари ей сына здорового... не лиши его молока материнского, сладкого... Сыну моему дай верность и силу брата старшего, чтобы он принес счастье маленькому наследнику, как Автандил принес его Тариэлу...

Екатерина зачарованно слушала материнскую молитву. Ее покинул суеверный страх за сына. “У меня будет сын, сын! Ведь Агата в молитве так упорно говорит о нем. Значит Богу угодно, чтобы у меня родился сын”, – радостно думала княгиня, и она вся ушла в себя. С закрытыми глазами слушала она молитву и улыбалась, улыбалась малышу, поднявшему настоящую возню... второй раз за сегодняшний вечер...

*нет, нет, хочу сейчас видеть своего ребенка.

**сыночек

ЛЕГЕНДА О МАТЕРИ



Дядя Джото, дядя Джото, послушай меня... Мне сон приснился, странный, страшный. Объясни его мне, не то сбегу от князя к матери своей”, – теребил Мераб своего старшего “приятеля” Джото, за полу чохи.

– Ну что ты ко мне-то привязался со сном своим? Пойди другого кого-нибудь спроси, мне сперва дела свои закончить надо, – сердито отбивался Джото от мальчонки.

–Нет, ты меня сейчас послушай, успокой меня сейчас, дело ты всегда успеешь сделать, – не отставал от него Мераб.

–Ну, да Бог с тобой! Садись да и рассказывай, чего тебе приснилось-померещилось, какой такой ты сон-то видел страшный, что никак покоя не найдешь? Валяй, рассказывай, давай...

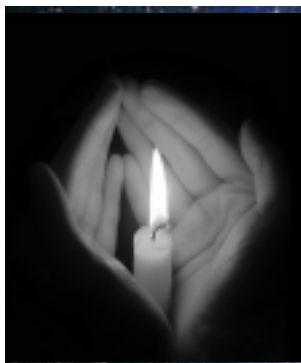
– Мне приснился, дядя, сон очень странный, смерть пришла ко мне с косою, но во сне как будто знал я, – это козни, но не рок мой, сердце будто говорило, срок твой слишком уж далёк. Почему-то, дядя Джото, был я сиротою по отцу, но ты ведь знаешь, жив мой папа и боюсь очень за него. Ежели

меня не успокоишь, то сбегу от князя, не боюсь его, хоть люблю я названного брата, но мне отец роднее, он дороже сердцу моему....И будто бы какой-то старикашка, задумал жизнь за мзду продлить себе, и подкупил он смерть. Но чтобы в Гадес без добычи не спускаться, смерть вместо него меня решила с собою прихватить. Восстал я: “Мне не время... и я с тобою не пойду!”

“Как, мне перечить?” – взвыла смерть, и хватъ меня костлявою рукою. – “И ты, малыш, последуешь за мной...”

Почувствовал я леденящий холод, лишь еле-еле шевелиться мог, но всё-таки себя я превозмог, что было мочи, закричал я: “Мама-а-а...”.

Она не вошла, а ворвалась, налетела, разжала ледяные пальцы у него, жестокие и жуткие, как сталь. Взяла меня на руки, обняла, дыханием, теплом своим согрела, и я пришел в себя... Всё маме рассказал я, и поняла она, что выбор нужно сделать, и...не колеблясь, сделала его: “Возьми меня, тебе ведь нужно тело и жизнь за жизнь, чтоб старику отдать.



Возьми меня, я молода, и много лет за мною ты возьмешь, их вдоволь хватит на тебя, мздоимец, для взяточдавца твоего”.

“Возьму, согласен я”, – алкая плотоядно, ответил ей Аид.

“Взять-то ты возьмешь, но вот условия за молодость мою, за свежесть и за жизнь!”

“Как, у тебя условия?”

“А как же! Сперва глаза я выну из глазниц и сыну их отдам, – я жизнь люблю, я красоту люблю, и ими я на смерть смотреть не буду. И кисти отсеки своей косою острой, – они лелеют жизнь и ни за что тебя ласкать они не станут. Отдай их сыну. И сердце из груди достань, в нем верность и любовь навеки к мужу”.

“Глаза я выну и отдам их сыну,... и кисти отсеку, пусть себе берёт, но сердца я не дам, скажи, зачем мне труп? Я видимо-невидимо их видел, сейчас хочу познать, как жарко бьется сердце. Всё остальное пусть себе берёт, не жалко ничего, но сердца не отдам”.

Смерть отдала мне матери глаза и кисти рук её, а сердце... оно само тайком ко мне за пазуху скользнуло из маминой спины и тихо-тихо зашептало мне: “Беги, сынок, глаза и руки уберегут тебя, ты ж сердце береги. Беги, беги...”

И я бежал, что было сил, а сзади слышал странную возню и звуки непонятные, но сердце матери шептало: “Ты, сынок, беги и не смотри назад. Там тело бренное без сердца

и души, и потому мне безразлично, что происходит с ним, и кто что сотворяет с ним, с той бедной, бренной и пустою плотью...”

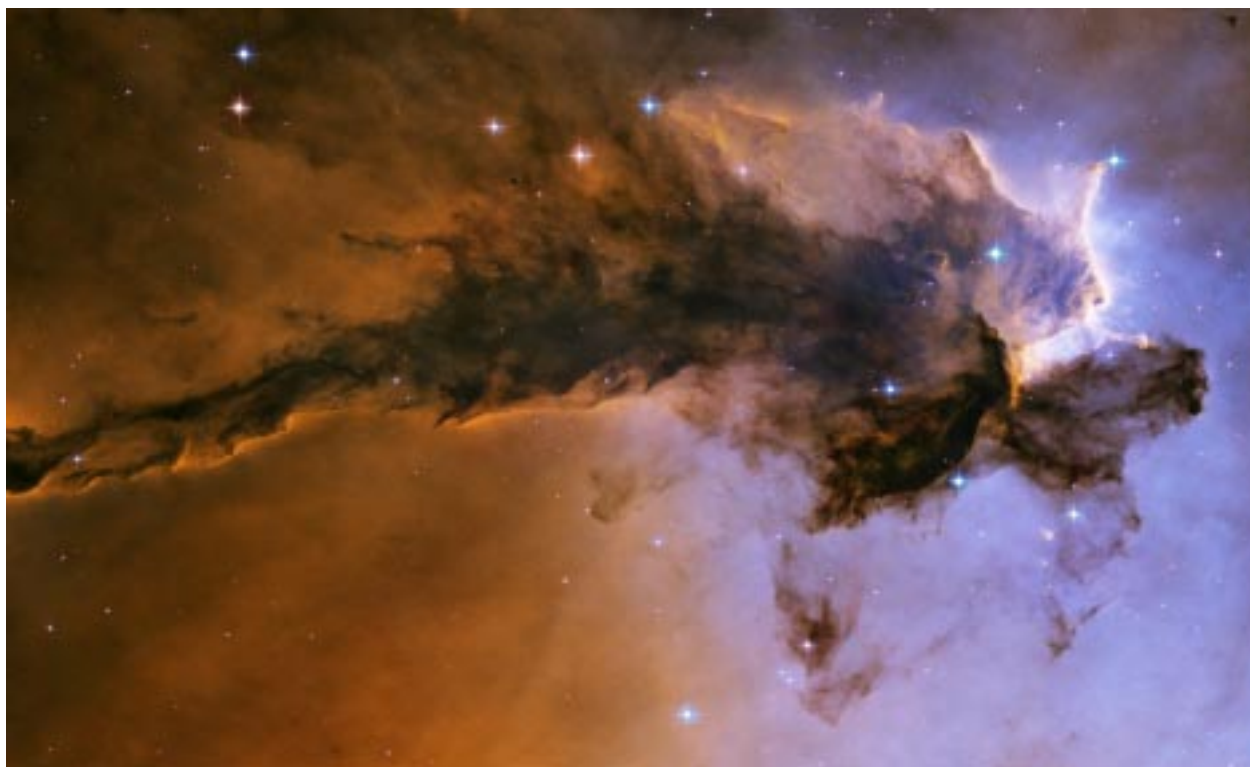
И долго я бежал, и чую вдруг погоню. Учувши обман, то смерть за мной вдогонку торопилась и яростно косою потрясала.

Вдруг предо мною пропасть... она огнём дышала... Я на краю в отчаянии стоял и ждал, тогда как смерть ко мне, как вихрь летела. Вот-вот она настигнет нас, и я дрожал от страха, как вдруг я взвился в небо, как Пегас. То кисти матери, как крылья за спиною, огромными орлиными крылами над пропастью несли меня.

И смерть взревела в злобе лютой, из пропасти огнём дохнуло на меня, вот-вот спалит, но...ливень слёз, из материнских глаз... загнал он пламя снова в пропасть, и там в бессилии оно шипело, угасая. И на другом краю я вольно приземлился...и чудо первое – отец родной встречает. Затем второе чудо: к груди отцовской сердце матери прильнуло, и мама ожила. Живые, во плоти, они меня ласкали...

– Да! Вот это дивный сон! Родился под счастливой ты звездой. Конечно, есть проблемы у отца, да ничего, всё будет в лучшем чине, и счастье вовеки будет с вами...

О чем кричат совы по ночам	3
Молитва Сердца	32
ЛЕГЕНДА О МАТЕРИ.....	46



www.georgia.agni-age.net
Email: gromm@roerich.com

Верстка и компьютерный дизайн:
Вахтанг Ратишвили